Kerosene X

Поезд на Домклостер 4

Повесть для совы

Часть первая

1

Горжетка злится:

— Снимай головной убор.

Я вытираю пот с головы кепкой.

Какая же страшная эта Горжетка. Не то злится, не то обижается.

Все, что она ни играет, звучит этюдом на интервал. Ой-мы-все-ма-реее…

Я видел, как шпарил на фортепиано толстяк, интересующийся Горжеткиным сердцем. Клавиши под вспотевшей рукой проваливались. А эта — жалеет инструмент. Кое-как гладит, касается. Может, боится?

Вроде бы и не курит, а запах не чувствует — оборачивается, когда собеседник воротит от нее нос, морщится — чем-то резким внезапно повеяло. А запах от шубы.

В довершение всего из-под Горжетки торчит собачий хвост.

— Гармония — это образ! — кричит Горжетка.

Постукивает точеной деревянной указкой по видавшему ви-ды столу.

— Включите образ, Артем! Ми-бемоль стального цвета.

Брезгливость подступает к горлу всякий раз, когда я слышу про ми-бемоль стального цвета.

Ботинок слишком рано принялся лепить из меня музыкального гения.

— Три, четыре, стоп.

— Посмотрите на котя-а-ат! Посмотрите на котя-а-а-ат!

Все хотят смотреть на котят.

— Мы перебегали берега-а-а!

Мямлик тычет меня ручкой в бок.

— Посмотрите на котяа-а-ат, — страшным голосом шипит он мне.

Странный ритмический удар у котят. Можно, конечно, не обращать внимания. Надо цепляться за вторую долю, но что делать с последним ударом тогда?

Мямлик знает мое слабое место.

— Мыпе! Ребе! Гали! Бере! Га-а-а!!!

Последнее он тянет долго, при этом глядит в глаза.

Он будет тянуть, пока не добьется успеха.

— Га-а-а-а! — вдруг кричу я и начинаю топить все в неочевидном пассаже.

Разбрасываю ручки и ноты. Тюнер летит в сторону и ударяет в затылок верзилу. Его прочат на эсную тубу. С бэйной тубой его заставляли артикулировать удар на вторую долю. Я стучу кулаком и в бессильной ярости несколько раз повторяю шепотом вслух: «Мыпе-ребе-гали-бере-гага», «Посмо-трите-нако-тя-тя», «Упа-пабы-ласа-бака». И тут же обрубаю концы — текст, который Горжетка предлагает нам для запоминания, превращается в околесицу.

Ботинок все делал правильно. Может, перестарался.

Если вдалбливать что-то в младенческом возрасте, информа ция застывает в голове, словно асфальт. Все, что нарисуешь сверху мелком — смоет дождиком.

Мыслю я тоже ритмически правильно.

— Даже Свадебкин понял.

Это звучит на весь класс.

Даже Свадебкин.

Иногда мелки с асфальтом начинают взаимодействовать. Но взаимодействуют они лишь до тех пор, пока снова не пойдет дождь, и все, с таким трудом нарисованное, не сотрется.

— Артем Свадебкин! Подними тюнер и подойди.

Мямлик вытирает с глаз выступившие капельки смеха. Достает из кармана смехочистку. Тщательно выскабливает все, что осело на зубах. Потом напускает на себя серьезный вид. Остальные угрюмо провожают меня взглядом. Каждое занятие с Горжеткой заканчивается экзекуцией. Можно потратить это время на что-то более интересное, а не перебирать цвета для ничего не понимающего Свадебкина.

— Артем, — вкрадчиво начинает Горжетка. — Тебе кажется, что мы тратим зря время? Тебе кажутся глупыми песни про котят? Не можешь потратить на них полчаса?

Она недовольно смотрит на меня в упор, но ускорить процесс появления слов в горле не может. Только подбадривает: «А?» «О?»

— Кажутся или нет?

— Кажутся, — я не умею спорить с Горжеткой.

Горжетка удовлетворенно захлопывает тетрадку.

— Завтра Борис Сергеича позовешь. Чтобы не я одна с тобой мучилась.

Только дотронулся до ручки двери, как в спину вдруг слышится жалобное:

— Свадебкин! Не уходи…

Я покорно вернулся к доске.

— Разреши нам аккорд.

Если директор потребует отчета, все скажут: «Аккорды в поте лица разрешали со Свадебкиным».

— Сейчас Свадебкин скажет, куда улетят четыре зеленых фонарика!

Мел раскрошился в руке. Раз — тетрадь в пластиковой обложке, два — остро заточенный карандаш. Три — малиновый фломастер для важных пометок. И на четыре надо громко щелкнуть портфельным замком, не выходя на прогрессию.

— Извините, — не двигаясь с места, произношу я. — Это просто четыре черных мушки, а не фонарики. Вы правы только в одном. Как только мушки будут просчитаны — они улетят. Но красными-то они точно не станут.

Любой бы другой на месте Горжетки просто вышвырнул меня за дверь.

Но если в аду есть преподаватели, то в их главе безусловно стоит такая же Горжетка.

— То есть… ты хочешь… сказать… что мушки…

От выступивших слез она никак не может произнести то, что хочу сказать я, и оттого судорожно глотает.

— Да, я хочу сказать, что когда прилетят новые четыре мушки, они будут точно такого же черного цвета.

Горжетка делает усталые глаза и украдкой обернувшись на зал вертит пальцем вокруг правого уха.

Актерский талант у Горжетки естественно есть. Все смеются, практически угорают. А я ухожу. Не оборачиваюсь.

— Не могу больше ходить в эту школу, — сказал я Ботинку.

— Снова обидно?

Нет, пожалуй, в этот раз не обидно, а… непонятно.

Господи, ведь всего-то и требуется, что про мушку сыграть. А я вместо того, чтобы играть нормально, всякий раз обезьянничал.

Ботинок смотрит на меня понимающе и непонимающе одновременно. В глазах детское ожидание чуда. А вдруг обойдется? Вдруг рассосется само собой. Может, я сам все решу. Но я не решу ничего. Получится, как и со всеми предыдущими школами.

Приведя меня как-то к Горжетке, он, видимо, думал, что от ее метода будет какой-то толк. Посмотрит на меня и разберется, откуда начинать танцевать. Если вообще со мной хоть что-то могло вытанцовываться.

Я проучился там месяца два. Нажил врага в лице Мямлика. Приобрел пару сочувствующих вроде того эсного парня, который хочет стать бэйным. У эсного такой же метроном в голове, что и у меня. Эсный под него играть уже как-то приноровился. А вот бэйный пока еще нет.

Ботинок в курсе про эсного.

У Ботинка высшее консерваторское.

— Пошли, — сказал Ботинок, надевая свой лучший костюм и ботинки с литыми галошами вместо подошвы.

И привел меня к Марабовичу.

Марабович был тот еще Марабу — малиновый халат, ледяные глаза, потусторонняя дьявольская бородка. Вместо рукопожатия он сунул мне целовать перстень. Я решил прокусить ему вену так, чтобы ему больше никогда не игралось.

Но Марабу брезгливо отнял у меня свою руку. Подергал ей в воздухе и говорит:

— А я вовсе не этим играю. Промахнулся ты малость, старик… Играть надо сердцем.

Мне вручили старый альт-саксофон. Он стоял в углу на вечной привязи в расслабоне.

Из раструба торчала расческа. Шею от саксофона Марабу достал из коробочки с разнокалиберными пуговицами. Думаю, он штопал на ней носки. А мундштук он выудил из другой коробочки, на этот раз с искусственным перламутром.

— Ну что ж, — безразлично сказал Марабу, — шпиляй. Выматывай нервы.

Я поднатужился, вышел на писк. Потом к нему добавился гук. Марабу злорадно расхохотался.

Он спрятался в глубине эркера. Поливал цветы. Я пытался извлечь из инструмента хоть капельку смысла.

Каркать вроде бы получалось. Гукать вообще выходило неплохо. Прежде, чем спрятаться, Марабу сказал: «Хоть мяукай, хоть каркай, но звук мне издай». Видимо, это был не звук. Марабу не отзывался.

Я начал потихоньку поглядывать в зеркало. Боялся, что с саксофоном я выгляжу как Марабу. Оглядывал книжные полки и вертел на языке имена, которые нравились. Си-мо-на-синь-е-ре. Вот, правильные ребята. Имена их читаются синкопировано. Не то, что у меня, громоздкое, абсолютно никакими тактами не просчитывающееся имя — Свадебкин Артемий Борисович.

Гук! Гук!

Одна из книг называлась «Советский Джаз». Гук! Ее нельзя не заметить. Я ее хорошо знаю. Гук! Раньше у нас стояла такая же. Самая вонючая из всех, что я видел.

И она тоже стояла выдвинутой. Для привлечения внимания.

Перед переездом Ботинок вытащил ее и заявил, что кое-что в этой жизни он забыл сделать. А потом порвал ее на две части. И зашвырнул прямо из окошка в мусорный бак. Добавив, что точность удара — незаменимое качество барабанщика.

После переезда у нас началась другая жизнь — с отдельным выходом в туалет и без мытья коридора по очереди. Просто пылесосишь и все. Совсем не то, что раньше, в коммуналке-то с одной ванной на кучу народа.

Гук!

Душераздирающе гукаю.

Поглядываю на «Советский Джаз».

Что, интересно, мешает Марабовичу съехать из коммуналки?

У Ботинка недавно угнали машину-седан. А Марабу в коммуналке живет. Рояль тут есть, перстень и больные цветы в порушенном эркере.

В первой редакции книги «Советский Джаз» они оба в обнимку сидят, Марабу и Ботинок. Во второй редакции книги уже один только Марабу. Дятел, к тому моменту успел достучаться:

— Да не трещи ты клапанами! Вашему брату лишь бы трещать. Лишь бы трещалось!

Я стараюсь. Гук! Гук!

— Стучать надо языком, как дятел по дереву, а не клапанами, — чмокает Марабу, чистит губкой листья алоэ, а потом и вовсе утыкается в телефон.

Стучать. Не трещать. Но что делать, чтобы начать играть, он так и не объяснил.

Я быстро выдохся. Гукать перестал — сижу нахохлившись.

Ботинок вернулся часа через три, а с меня пот течет градом. Хотя я уже давно и не гукаю. Марабу — тот и вовсе куда-то ушел, оставив входную дверь приоткрытой.

Я говорю: «Папа, домой. Дверь открыта!»

Ботинок чихает и ничего не отвечает. Простудился видать, пока под дождиком у подъезда стоял.

Я топтался по коммунальному коридору и ждал.

А он тем временем, знаете, оказывается, что сделал? Схватил наполовину вывалившийся с полки «Советский Джаз» и вынес его под полой!

2

Узнав, что меня хотят отправить далеко-далеко, я обрадовался. А кто не обрадовался бы?

Избушка на курьих ножках. Разбойничий, так сказать, домик. Или пряничный. И, главное, без лестничных пролетов. Без совмещенных санузлов и мусоропроводов. Без соседей под окнами и всего остального. Без советских мультфильмов. Без Марабу. И без тоскливого погружения в вечность, которым пахло в той коммуналке.

Когда-то Ботинок и сам так хотел.

Он поцеловал Мопсю, вызвал такси и убежал в дождь. А по возвращении, не торопясь, съел картошку, уселся перед компьютером, погасил свет и поставил длиннющий концерт Майлза Дэвиса.

Он надел тапочки и халат, открыл пиво, которое не любил, кофе, которого ни разу не пробовал, и хлопнул в ладоши. Мопся шевелила губами и шелестела бумагой.

А я подумал, что не может такое обойтись без последствий. Что-то с сегодняшнего вечера будет потеряно навсегда.

Как же быстро он со всем справился. И астрономический, по его словам, счет… Не проще ли договориться с Горжеткой о сдаче экзаменов?

В барабанах он шарит. А в жизни Ботинок все делал спустя рукава.

Может, и сейчас он что-то неправильно сделал?

Молчит теперь за рулем, надвинув шляпу глубоко на глаза.

Спустя месяц после того, как Ботинок включил Майлза Дэвиса, мы сели в машину и уехали. Всего-то проехали ничего. Но небо поменяло цвет. Воздух стал свежим. Люди надели капюшоны и балахоновые куртки. Пенсионеры подстриглись налысо. А в целом ничего нового. И место не произвело на меня впечатления.

Вот, я стою посреди однокомнатной квартиры, и не понимаю — зачем это все.

Мой адрес — Тууликаллио. Тейхтетияайсенкатуюксививаколме.

Природа? Да, вокруг, разумеется, лес.

Лес пересекает шоссе. По шоссе мчатся грузовые машины. Границу уже не видать. Движение больно большое. Собачку не заведешь. Кошку тоже. Собьет нафиг.

Вокруг тишина пятиэтажных панелек. Пока ничего сверхъестественного. Но еще не стемнело. Может, скоро появятся волшебные тролли. По крайней мере, я буду ждать — времени уйма. Чего я заныл? Хотелось тебе в школу не ходить — пожалуйста.

Ботинок через полчаса уезжает. Я остаюсь здесь один.

Мопся ждет его у магазина. Он закрывается через час, а надо купить таблетки для стиральной машины.

Я проголодался и вдобавок замерз. Вода горячая не течет. Как спать тут, в холодыре? Никто мне не объяснил. По крайней мере, даже не попытался.

Что тут еще, кроме холодильника с туалетом? Ну вот, скажем, кровать. Рояль. Чан для нагрева воды — это для ванны.

— Вот так, — буркнул отец и повернул ручку на батарее.

Сразу же стало тепло.

И я протянул ему руку.

И Ботинок ее неторопливо пожал.

3

Марабу пришел в ярость.

— Как это не тот инструмент? А кто дополнит посыл? Кто, черт возьми, сделает то, что еще никому не удалось сделать?

Ботинок передавал мне трубку довольно рассеянно. Там уже пищали гудки, перед которыми было озвучено:

— И думать забудь!

Через пару минут телефон зазвонил у меня в кармане.

— Дятел младший!

Я мотаю головой. И отворачиваюсь.

Ботинок тихонько шепчет, развернувшись лицом перед трубкой:

— А почему нет, дядя Шарик?

И я решительно отвечаю ему:

— Нипочему!

Бросаю руки, так, будто завершаю пассаж. Долго держу. Представляю себе педали от фортепиано. Злость разбирает.

— Так делать нельзя вообще, дядя Шарик.

И дядя Шарик сообщил Ботинку, что больше не может. Когда с тобой поливают цветы — ничего не сложится, ни за какие коврижки! Вот бы отправиться на необитаемый остров! Или посадиться в тюрьму. Да, пожалуй, лучше в тюрьму — главное полностью изолироваться. Так, чтобы вокруг меня был кто-нибудь, кто обо мне ничего не знает, лишних вопросов не задает и ваап… ваап… ваапще!

Короче, не выдержал я и психанул. И с заиканием. И расплакался. Не знаю, зачем я завел эту тему вообще.

Ботинок усадил меня за пианино. Через некоторое время я уже делал упражнения на растопырку, кивая головой собачке, висящей на ниточке. Собачка тоже кивала. Раз, два, три четыре. Вверх, вниз.

Интересно, черт побери, почему, когда дело заходит до «раз, два, три, четыре», меня обволакивает черная пелена и я не могу ничего с собой сделать.

Чижика-пыжика связно не могу сыграть.

Или уже могу? Раз-два. Вверх и вниз. Все в порядке. Теперь можно к Горжетке идти.

К Горжетке идти не понадобилось.

Однажды утром все изменилось.

Я вышел в коридор и поморщился от нового ощущения.

Песок под голыми пятками. Мы не ходили по комнате в обуви. Когда мама была жива, она строго-настрого запрещала.

Как только заходишь дальше условной черты, мама нападала с тряпкой и веником. С тех пор, привычка ходить босиком по свежему полу осталась.

Я притоптываю ногой пол, проверяя, есть ли топь на болоте. Есть. Топь до самой маминой комнаты. Там я встречаюсь глазами с блестящей накрашенной тетенькой. Тетенька не расставаясь с сумкой осматривает книжные полки.

Осмотрев вместе с ними меня, она еле заметно кивает. Потом берет с одной из полок наполовину выдвинутый «Советский Джаз» и рассматривает фотографию, где Марабу с Дятлом сидят по разные стороны столика.

— Брудершафт был! — кричит откуда-то Ботинок. — Мы на ты?

Шторы задернуты.

Потихоньку прокрадываюсь на кухню, где недавно пахло котлетами.

Раз — перешагиваю через Ботинковые тапочки, два — отодвигаю женские ноги в запесоченных сапогах, три — морщусь при звуках музыки Джорджа Майкла, четыре — наматываю по комнате круг и выхватываю из-за угла швабру.

— Я сделаю из газеты совок?

Главное, чтобы можно было ходить босиком по квартире.

— Ну вот, — говорит Ботинок, — Темыч! За хлебом спустись. Сделаю всем бутерброды с селедкой.

И дает мне столько денег, что хватает на радиоуправляемый вертолет.

Я каждый день спускаюсь за хлебом. И, кстати, покупаю себе радиоуправляемый вертолет.

Про школу и разговора нет.

Я прогуливаю Горжеткины занятия.

На четвертый день, вместо того, чтобы идти за хлебом, я собираюсь испробовать вертолет. Во дворе меня осматривают с безжалостным скепсисом. Вертолет заваливается набок.

«Сломается, подниму ставку, — лениво обдумываю я, — куплю радиоуправляемый космолет». Ботинок давно уже стыд потерял. Из полуоткрытого окна раздаются звуки танго. Я удивляюсь глубине следующей мысли: «Ботинок, конечно, дядя немолодой, но ведь ему нет еще и пятидесяти».

«Вдруг та помрет, а он расстроится», — продолжаю воображать я.

— Пссс, — шепчет кто-то за спиной. — Слышь! Эй!

Я раздраженно направляю вертолет в дерево. Интересно, получится что-нибудь или нет?

— Дятел! Младший дятел! Ты слышишь меня?

Бум! Вертолет рассыпается на пару частей. Никакой вспышки, никакого облака. Даже на взрыв ничего похожего нет. Разочарование. Дети вопросительно смотрит на меня. Я машу рукой, мол, забирайте.

У парадной стоит Марабу. В руках у него синий пакет. Он облокотился головой о стену и вязко, неровно дышит.

— Папа в отпуске.

Ответа нет. Очевидно, что великий джазовый Марабович уже не импровизирует.

Я пожимаю плечами и закрываю от него рукой домофон, чтобы войти в парадную.

Тот кашляет. Я оборачиваюсь…

— Ощупывай, — говорит Марабу. — Это оркестровый инструмент.

Ощупываю — скорее всего оркестровый. Скорее всего. Тот самый, с шеей из пуговичной коробочки.

Я не могу понять, плохо это или хорошо.

Ну, оркестровый.

— Будешь стучать! — оживает вдруг Марабу. — На таком как этот — стучать надо, к-к-к-как дятел. Дятел, п-п-п-понял? По-другому т-т-ттебе его и не удержать.

Трудно сказать, сильно ли Марабу пьян. Но он не способен ничего объяснить внятно, по-человечески.

Не понимаю. Может, приснилось? Но нет, вот же он саксофон меня в руках. А оркестровый он или нет — потом разберемся.

В школу я не ходил больше недели. Ботинок исправно сыпал деньгами. Я был свидетелем, как она его навещает. Видел, как Ботинок встречает ее с букетом. И видел, как оба дремлют в кресле на кухне. Незаметно для себя, я и сам стал вылезать из маминой комнаты и подсаживался рядом за каким-то обыденным делом.

Так каждое утро. Танго. Почти что праздничная суета.

— Он просится в тюрьму. Или на необитаемый остров, — смеется Ботинок. — Слышишь, Мопся? Успокоил, можно сказать.

А та все интересуется:

— Как в школе дела?

— Три недели не ходит.

Я бесшумно сную в темноте коридора.

— Правильно, — хмурится Мопся. — К самостоятельности надо себя приучать. А в тюрьме у тебя будет самостоятельность?

— В тюрьме! Ты, правда, думаешь? — спрашивает Ботинок.

Мопся встает, долго смотрит в окно, выключает танговый шквал.

— Выйди. Дай с человеком поговорить.

Она психиатр.

Но чего бояться? Хуже не будет уже, ведь так?

И я медленно, неторопливо ей объясняю. Мне нравится ей объяснять. В конце концов, она психиатр… Хотя без халата это не считается.

— Какая школа по счету?

Хочу соврать, но подслушивающий у дверей Ботинок бросает:

— Четвертая…

Мопся. Тьфу.

От этой Мопси меня тошнит и начинает болеть голова, но что же поделать — пусть теперь у папы будет домашняя Мопся.

Спустя часок-другой в ритме танго, Мопся еще разок переманивает меня к себе, а Ботинка выгоняет в магазин за мороженым. Как будто опыт поставить хочет. Так я и знал, что рано или поздно этим закончится — опытами.

— Скажи мне «Раз», — требует она. — Досчитай до восьми.

Я тихонько говорю «Раз», но все-таки завершаю цикл. Потом повторяю. Четыре такта в четверти.

— Как интересно. А ну еще раз! Раз!

И я отказываюсь наотрез. Пусть сама себе разкает. Пусть таращит глаза… Мопся!

Она закрывает глаза, печет ими сквозь накладные ресницы, сжигает дотла, дырявит взглядом насквозь — одним словом раздумывает.

— Нет, в школу не надо. Обо всем можно договориться.

Ботинок как почувствовал. С мороженым подоспел. А в другой руке — коньяк из дорогого магазина.

На следующий день вместо меня пошла в школу Мопся. А я больше никуда не ходил. Бездельничать мне понравилось.

Незнакомый подросток бледного вида сказал мне на русском:

— Здравствуйте…

С соседями я познакомился так: старуха с кудряшками, старуха без кудряшек, скрюченная старушка передвигающаяся гусеницей, мотоциклист огромного роста и девушка в колючей искусственной шубе. Видеться с ними необязательно. Слышать о них не хочу. А они меня будут слышать.

— Потому что он музыкант!

Я играю на фортепьяно. Кудряшка стучит в стенку. Если я не играю — Кудряшка не стучит, а звонит. Такое вот опекунство.

Ее доставляет удовольствие стучать в стенку. Но попробуй только насобачить что-нибудь ПОСЛЕ шести — зашаркает по лестнице и позвонит в квартиру. «Юммаран синут!»

Окно не занавешивается. Мимо ходят прохожие. Их немного. Скользят незаинтересованным взглядом.

Я словно рыбка в аквариуме. Иногда я поднимаю руку в приветствии. А если не хочется, чтобы меня видели, то просто прячусь за кадку с цветами.

Это может показаться глупым, но чтобы здесь, в Тууликаллио, спрятаться, кадки с цветами вполне достаточно.

Просыпаясь, я ощущаю босыми пятками холодный пол. Бегу на кухню ставить чайник. Вскипятив воду, с наслаждением выливаю кипяток в таз и, разбавив холодной водой, грею ноги.

Нельзя сказать, что совсем уж странно я себя чувствовал. Ну, Тууликаллио… Как будто там, до границы, я умер. А теперь снова живу.

С Мопсей мне никогда не удавалось найти общий язык.

Я искренне недоумевал, что нашел в ней Ботинок.

Бывало, и я пытался в ней что-то найти. Возможно, там что-то и было. Но теперь как после лесного пожара. Чаще всего что-то сгоревшее. Иногда хворост.

Она бывало, вязала. Лепила пельмени. Прической занималась по полтора часа, железные спицы туда всаживала. Говорила, что я нервы делаю ей.

И фильмы она не смотрела. И музыку не слушала. Вместо них — песни, и тут даже Ботинок недоумевает; ну какой вред можно Чарли Паркером нанести. Но нет, следует хладнокровный Мопсин ответ, — она знает про Паркера все, и в том числе то, что Паркер принимает наркотики. И песни у него про наркотики, например, «Мусин муж»!

И я даже радуюсь, что буду с ними видеться раз в три месяца, по истечению каждого из шести сроков двухгодовой визы.

Ботинок виновато отвечает на Мопсин звонок: «Да-да! Иду уже».

— Пока, дядя Шарик! — говорит он.

— Пока, Ботинок, — скучным голосом говорю я.

Мы попрощались.

Но когда захлопывается дверь, появляется чувство свободы.

Скоро все станет привычным.

Я уже не грею ноги с утра.

Я просматриваю газету из почтового ящика. Финский не понимаю.

Готовлю завтрак. Это будет дьявольский торт из блинов, облепиховых чипсов и зеленой, выдавливающей глаза из орбит пасты. Это хумус — превосходная вещь. Особенно, когда он острый, из отдела «Текс-мекс».

Пью растворимый клубничный сироп — целая пятилитровая канистра с ручкой. Закусываю зеленым хумусом.

Затем выливаю остатки холодной воды в скучающие на подоконнике лютики. Беру диск из стопки на подоконнике. Это концерт Эрика Долфи в Уппсале, во время которого он сломал на сцене язык. Не себе, разумеется, а кому-то из зрителей.

В восемь утра сажусь за «Эстонию». Это мини-рояль. (Маленьким этот инструмент кажется только тому, кто не видел другие рояли. А вообще-то нормальный гроб. На полкомнаты.)

У Ботинка стояла «Рига». Играя на «Риге» я представлял себе Домский собор с обложки пластинки. И, бывало, наигрывал на «Риге», торжественно, будто с педалями.

У Горжетки доживает свой век чудовищно убитый «Ростов». Тут ничего не поделаешь. Даже подходить к нему страшно…

Теперь вот «Эстония».

Звук на рояле дерьмовый.

Интернет тут от случая к случаю. И соответственно нет никакой прикольной картинки перед глазами.

И будильник звонит этой Уппсалой.

А когда покупаешь продукты, следует затыкать уши, лишь бы не перебить метроном рекламой из супермаркета.

Плеер позволяет замедлять темп проигрываемой им пьесы настолько, насколько мне хочется. Замедляясь, прибираешь темп поворотом ручки, а опять все на тот же темп. Слушать, двигаться и чистить картошку. Все в одинаковом ритме. И одновременно все повторять. Один. Пять. Два. Шесть. Три. Один. Пощечиной увеличить, подножкой уменьшить.

Ботинок замечательный педагог. В результате его дьявольских экспериментов я либо сойду с ума, либо вернусь победителем.

Мне кажется, что я начинаю сходить с ума прямо сейчас.

После долгого прослушивания этой Уппсалы, на фоне прекрасной музыки мне слышится тонущий в аплодисментах хмурый русский голос: «Темыч, мозги не напрягай».

Это, пожалуй, уже перебор.

Надо сходить прогуляться.

Да. И прикупить чуть-чуть хумуса в «Призме».

Там я рассматриваю ряд пробковых досок, чтобы понять что в Тууликаллио новенького. Потерялся французский бульдог, потерялась попонка с нашивками. Нашелся пакет с документами на имя Росмолайнена. Росмолайнен разыскивается. Но мне ни за что не прочитать почему разыскивается Росмолайнен — точки над буквами быстро выключают в голове метроном, а выключать метроном нельзя не при каких обстоятельствах.

Тогда я иду на игровую площадку и наматываю несколько кругов по батутам. Кассирша показывает большой палец вверх. А я выпрямляюсь и улыбаюсь в ответ, потому что это моя любимая кассирша. Она протыкана сотнями булавок и татуирована. Как пробковая доска с объявлениями.

Бывает, что лень переться четыре километра пешком. Или надоедает бродить по бесконечным рядам супермаркета. Тогда я иду в маленький магазин. Там совсем другой выбор. Копченая рыбка с названием «муйкку». Газированный кипяток. Бесплатная микроволновка. Белобородый за столиком пытается разговориться по-русски, но я протестую. Как только слышу русскую речь, в моей голове перестает стучать метроном. Незаметно привыкаю к финскому. Но только на слух.

Когда темнеет и в окнах соседских домов загорается свет, я достаю саксофон. Иду в лесок и сажусь на выступающие камешки. Здесь можно расслабиться. Можно есть оранжевый и бежевый мармелад. Можно выключить плеер и отключить голову. Я открываю футляр и он пахнет покойником.

Я помню руку, сующую мне под нос перстень. Помню руку поливающую цветы. Когда передавали мешок с саксофоном, рука Марабу была холодной.

Прощальный привет в виде саксофона отцу я передавать не стал. На кладбище Ботинок беззлобно отделался чем-то беспечным, на мотив его песенок.

Хочешь каркай, а звук издай такой, чтобы все тебя услышали.

Гуу! Гууу!

Ну, вот и слушай теперь.

Гууу!

Однажды мне надоело. Я рассердился и выплюнул что-то неприятное из себя. Думал, трость переломится пополам. Так, я выплевывал в детстве мерзлую черноплодку из трубки. Трость не переломилась. Звук приобрел упругость. Я нехотя повторил и понял — поймал. Саксофон издал звук похожий на карканье. Не то, чтобы это было сдавленное карканье, к которому я уже начал потихоньку привыкать. Это был нормальный звук саксофона. Я испугался, что следом за этим звуком появится Марабу.

Я попробовал еще. Потом попробовал так, чтобы дребезжащая трость сразу заткнулась. Карканье прекратилось. Получился удар. Пусть тихий, но все же достаточно сильный. Громким он был ровно настолько, насколько это было нужно сейчас. И я бы очень обрадовался, если успел сыграть на

последовательность. Но не успел. Меня отвлекла белка. Она спускалась по веткам еще не обстуканной дятлами сосенки.

4

— Тело не ус! — бормотала белка, раздумывая над каждым движением. — Не ус тело! Неустелло. Тело не ус! Сфыр! Бу-бу-бу…

Стоило больших трудов убедить себя в том, что встретить такую белку в финском лесу — нормально.

— Тело не ус!

А может и не нормально.

— Почему же не ус? — спросил я.

— А что, разве ус что ли? — обхлопала себя белочка со всех сторон лапой. И поползла дальше.

Как я мог удержаться? Я сделал попытку дотронуться. Ну, в смысле, попытался ее остановить.

А Белочка зашипела:

— Сфыр!

Сфыр. Вот и вся штука. Но мы уже познакомились. Белка скашивает глаз на саксофон…

— Ай, — жадно пыхтит белка и тянет к инструменту лапы.

— Ух, ты, саксофон, — в свою очередь радуюсь. Счищаю с белки лесного клопа. — Вот это да.

Зверей в Тууликаллио пруд пруди. То на лису наткнешься, то на зайца. Если до речки дойти, там будут утки. А летом цапли. На дорогу пару раз выходил лось. Я помахал, не выделив его из случайных прохожих. А вообще хоть полярный медведь здесь появись — я бы не капельки не удивился.

Но по поводу белки размером с рояль возникают сомнения. Если надавить на глаз, как советуют в случае галлюцинаций — существует. А если резко помотать во все стороны головой, будто хочешь избавиться от кошмара, то нет.

Белка разглядывает себя со всех сторон. Он смотрится в матовый, вытертый временем саксофон и лихо поправляет косичку над задним проходом.

Тогда я осторожно беру саксофон левой рукой. Убираю в сторону. Белк делает шаг. Будто привык смотреться во всякие никелированные поверхности и не понимает, почему в этот раз не выходит.

Делаю несколько шагов — и белк прыгает за мной с тем же обиженным видом. Как кот за клубком.

«Из лесу белочку взяли мы домой!» — как же хорошо мне поется, но нечего крутить в голове незасвингованные песни. Хотя, свинговый плеер у меня в голове и без белочки выключился. Я только сейчас заметил.

В общем, я нашел в лесу белку.

Дружить она, правда, не хочет. Обращает внимание только на саксофон. А у меня нет ни хумуса, ни орешков.

Белк обнюхивает саксофон со всех сторон, но так и не понимает, почему нельзя туда посмотреться.

Саксофон старый. Пахнет покойником. Металл совсем потускнел.

— Мартин. С таким вот кляпом. И фа-диеза нет. Бедняга… — бормочет себе под нос белка.

— Он оркестровый, — небрежно бросаю я.

— Фа-диеза нет… Ладно, — машет лапой. — Тело не ус! Сфыр!

Там есть фа-диез. Или нету?

Белк неуклюже встает на задние лапы, приставляет саксофон к усам и напряженно вслушивается в то, что говорят ему лес и дорога.

Тело его действительно не ус.

Оно основательно перевешивает фундамент лап.

Терпеливо жду, что произойдет дальше.

Будет хрипеть? Или каркать?

Так ничего и не издав, Белк оглушительно чихает и катится вниз.

Я даже не проверяю работоспособность инструмента после падения. Просто укладываю в вонючий чемоданчик. Дома придется еще раз проверять.

— Фортепиано ли, рояль ли поблизости есть? — спрашивает белка, появившись передо мной, как ни в чем не бывало. — Или рояльчик? Я, вот, когда фортепиано…

— Пошли, — говорю я.

Белка опять сфыркает. «Ну, фортепиано же!» — зову я, делая призывные жесты руками. Как непривычно называть этим словом мини рояль. Просто язык не поворачивается. И белк недоволен.

Через минуту он браво топает рядом и обрывает всякие съедобные листики.

Из лесу белочку взяли мы домой!

Ботинок никогда не говорил: «фортепиано». «Портфель», «портфолио» и «портфельпьяно», — этими словами обозначалось присутствие «Риги» в нашей квартире.

Стараясь к «портфельпьянам» лишний раз не подходить, он все же иногда не удерживался. Подкравшись к инструменту, он нападал. И выдавал. А потом отходил в сторону и небрежным видом показывал, мол, да, черт возьми, ведь инструмент же ударный!

В один прекрасный день мы увидели этот ударный инструмент, торчащим из грузовика. Мопся махала ему обеими руками вслед, а Ботинок вытирал слезы манжетой, как клоун.

Несмотря на мои подходы к «Риге» в основном для того, чтобы вспомнить, как идут тролли, я чувствовал себя хуже всех… Без возможности лишний раз ударить по клавишам, доказав себе, что могу что-то засвинговать. Да и Ботинок опять был не рад. «Ударный… „ Рига“ опять же…» — слонялся потом по комнате он не зная куда себя деть.

Мопся была довольна. Вместо пианино перед окном поселился цветок напоминающий джунгли. Иногда она отламывала листик, клала себе в рот и жевала. «Нервная почва, — объясняла она потом то ли себе, то ли цветку. — Во всем виновата нервная почва…»

После ванны белк подцепил лапкой темные очки, надел ненароком и тут же их потерял. А потом, как фокусник, вытащил их хвостом из-под… скажем так, из-под неприличного отворота.

Какая липкая и грязная белка! До прихода домой, она напоминала шишку в смоле. А сейчас это пушистый шар с ушами, с торчащими из-под них подвижными бусинками.

Насмотревшись на фокусы, я усаживаюсь делать блинный торт.

Разрезаю упаковку блинов, кидаю в микроволновку. Смазываю каждый блин хумусом. Прокладываю трескучим печеньем. Добавляю карамелизированный лук и заканчиваю намазным фаршем. Соединяю, прихлопываю, режу на части… Вот блинный торт!

Белк тщательно принюхивается.

Кажется, он не будет такое есть.

Я молча открываю холодильник. Белк залезает туда по задние лапы.

— Рыбка-муйкку! — гремит он на всю квартиру. Чихает, надрывает оболочку и принимается глотать рыбок как цирковой морж. Сожрав все, он усаживается на кровать, весь перевазюканный. Потом громко чихает в очередной раз и изо рта летят непрожеванные хрящики и молоки. Апчхи.

Фу. Вазюки-мазюки.

— Сфыр! — безрадостно провозглашает белк и укладывается спать поперек всей кровати.

Я выволакиваю из-под белки одеяло. Чур, с подогревом мое.

Теперь я могу спать на полу. Белк пускай остается в кровати.

Вот это решение!

Из лесу белочку взяли мы домой!

Приняв решение спать на полу, я неспешно наворачиваю блинный торт, смотрю на звезды и вздыхаю. Теперь мне точно кажется, что я в избушке. Я строю планы. Днем можно купить все для блинного торта, а вечером получать удовольствие от одиноких лунных вечеров.

Я решаю не чистить зубы и заснуть прямо в носках, чтобы было теплее.

Устроившись под электрическим одеялом, я засыпаю и улыбаюсь во сне.

У меня есть домашняя белка!

Домашняя белка три раза вставала в туалет, гремела крышкой и роняла туда небольшие предметы. Она проваливалась, пытаясь их вытащить, спускала воду несколько раз, потом возвращалась и засыпала обратно. Во сне с кем-то свирепо сражалась — передними и задними лапами, а также зубами, по итогам битвы оказавшимися вставными. Слово «Сфыр» было произнесено раз пятьдесят. И раз тридцать — «Тело не ус».

Ну что тут поделать. Такая, вот, белка… домашняя.

Стук. Кудряшка не слышит моих занятий на пианино.

Проснувшийся белк прижимает уши к голове и пытается понять, откуда стучат. Приметив над головой радиатор, он фыркает. Батарея отвечает ему звуком глухого удара.

— Что такое? — спрашивает он у радиатора, нахлобучивая прическу, чтобы выглядеть слегка пострашней.

Я стучу три раза. Раздается ответный стук.

Диалог с Кудряшкой закончился.

Я открываю рояль.

— Что это? Будешь играть?

— Играть я сейчас как раз и не буду, — объясняю я.

Надо расчистить заплеванную рыбными косточками рояльную крышку.

— А что будешь? — белка растягивается вдоль кровати.

Не могу играть, когда вот так смотрят. Я стесняюсь собственного пальца. Даже Горжетка отворачивалась, зная, что своими взглядами она ничего не добьется. А тут смотрят пристальным, выжидательным взглядом. Похуже Горжеткиного.

Я с утра не подарок. Никогда не встаю с той ноги.

Пытаться со мной подружиться с утра — бесполезная и небезопасная задача.

Но белк этим, кажется, нисколько не озадачен.

— Давай, давай играй, — требует он. — Тело не ус! Тело не ус!

— Простите, а почему вы все время повторяете «Тело не ус!»

В ответ белка выдирает из-под ноздри увядший от времени ус. Он с грустным видом сравнивает его с разбухшим, совсем не беличьим телом.

Начинаю играть. Проходит часа четыре, быть может, и пять. А может, и минут сорок. Так часто бывает. Если смотреть на часы, то легче повеситься. Слишком долго тянется время.

Слушаю ритм. Это Монк. Вместе с саксофонистом, басистом и барабанщиком он делит время на доли ровнее всех. Понять в чем там дело не сложно.

Главное — не усложнять.

И ненадолго забыть о том, что по квартире шастает белка.

Белка в это время принимает душ, ловит вставные челюсти над унитазом, пьет воду из-под крана, разбивает очки, спотыкается о тумбу с ботинками, усаживается на блинный торт, ругается так, что хоть уши затыкай, меряет лыжную шапочку, засовывает что-то в микроволновую печь… нет, невозможно! Он танцует.

— Как тебя зовут? — кричу я.

Белк не слышит. Он в ванной. Течет вода.

— Вам по-фински проще? Или по-русски? — уточняю я холодным голосом, появившись перед ним со скрещенными на груди руками.

— По-английски, — бурчит белк и запускает в лохани кораблик.

Английского я не знаю. Немецкий учил.

Дожидаюсь, пока белк не утопит кораблик. Основательно кашляю. Это суровый кашель. Эхо разносит его на всю ванну.

Вода уже готова перелиться через край.

Я усаживаюсь поближе и выключаю воду.

— Ну, — спрашиваю я, — зовут-то как белку? Хорошую такую белку? Ну, как зовут? — пытаюсь дружелюбно запустить руку в шерсть.

Белк нападает на локоть.

Приходится окунать локоть в ванну, и держать до тех пор пока не пройдет. Буду тебя звать зубастой задницей. Только тогда мы не подружимся с тобой никогда. Да и не очень то, прямо скажем, хотелось.

Когда рука отходит, я делаю движение в сторону пианино.

— Сфыр, — бурчит белк.

— Чего? — спрашиваю.

— Называй меня Сфыр. Сфыра!

На меня накатывает злость за укушенность.

Белк обиженно топорщит усы и отворачивается.

Белка Сфыра! Ха-ха! Нет. Тело не ус!

— Может ты Ус? — верчу на языке я задумчиво. — Нет, ты не Ус!

Вдруг вспоминаю:

— Телониус!

— Можно и так, — отвечает белк безразлично. — Тело не ус! А дальше что? Не помню. Не то Трах, не то Бах…

Белк грустнеет у меня на глазах. Топит лапкой кораблик.

Пусть белка будет Телониусом. И больше ничего не нужно. Никакого Траха. Интересно как все же Монк выглядел?

Белку не хватает громкого завершения своего звучного имени? Но ведь не Сфыр же. И не Бах… И не Монк…

— Белк, — радостно ставлю точку я. — Ты Телониус Белк.

Белк удовлетворенно сфыркает.

Кудряшка стучит по батарее. Трах! Бах! Монк! Белк!

5

Укусил он больно меня — сфыр этот. Кровь уже не заливает рубашку. Но рука устает.

Обычный пульс — до семидесяти ударов в минуту.

Укус разогнал его до восьмидесяти пяти.

Что мне сейчас нужно, так это пульс пятьдесят. И играть на последовательность.

Ничего не выходит.

Пульс скачет — раз. Слышен смех белки — два.

Слышно, как белка фыркает как лисица. Это три? Или все-таки тоже два?

Фыркает, впрочем, не белка, а раковина. Водосливу не совладать с последствиями вычесывания белковой шубы. Я оборачиваюсь. Удобно устроившись на столе, Телониус Белк облизывает блюдце от блинного торта.

«Вот и торт кончился», — думаю я.

Взглянул на часы в виде уродливых троллей — те тянут друг к другу подкову с делениями в виде секунд. Скоро прогулка. В шесть часов Кудряшка позвонит в дверь. Надо срочненько делать ноги. И лапы.

Что-то подсказывало, что по дороге никто моего Белка не увидит. Так и случилось. Прохожие по привычке раскланиваются. А на белку не посмотрели. Значит, я просто схожу с ума. Это хреново. Неспроста я услышал тогда русскую речь на концертнике Эрика Долфи.

Будем считать, что я просто переутомился.

А с белкой как быть? Белк размером с мотоцикл и толстый, как надувной кит. Телониус Белк — надо же такое придумать!

Тууликаллио унылый и серый. Он точно грозовая туча, которая никогда не прольется дождем. Воздух гулкий, пустой. И в этом воздухе ты варишься как в кастрюле. Пока на горизонте автобус не появится или самолет не пролетит, мерещится, что тебя сварили заживо. Нет, правда, будто похоронили.

Может, мне того только и надо было, чтобы заживо себя похоронить. И именно так себе все это и представлял. Причем задолго до того, как сюда переехал.

Однажды, решив плюнуть на условности, я растянулся спать прямо на широкой просеке, где перед этим пытался играть на саксофоне. Идти домой было лень. А что? Вполне удобно. Мох был немного сырым. Но в целом — почему бы и нет. Мох как ковер. Можно даже не накрываться.

Просеку нагревало солнце. Я заснул, подложив под голову саксофон. Мне даже снилось, что я валяюсь на пляже. Хотя я отдавал себе отчет, что к утру должен замерзнуть и вообще — делаю что-то не так.

Что бы вы думали, чем все это закончилось? Кто меня потревожил? Кабан, лось, белка? Нет.

В двух метрах от меня с неба упал спортивный парашютист. И что вы думаете, он сделал? Вежливо со мной поздоровался.

Я так же аккуратно кивнул в ответ, помог ему сложить парашют и, словно ничего не произошло, отправился домой восвояси.

В Тууликаллио о себе не предупреждают. Просто возникают перед глазами. Смотрят и не здороваются.

Автобус останавливается, даже если до остановки километра четыре.

Я всегда думал, чего это он притормаживает. Оказывается, предлагает проехать бесплатно.

Представляете? Автобус-то все равно пустой.

В первый раз я любезностью не воспользовался. Сделал шаг вперед, занес ногу над подножкой. А потом убежал, показав знаками, что хочется писать.

Сейчас я уже принимаю такие приглашения. Запросто. Только вот на сиденье почему-то не могу сесть. Это оттого, что я слишком стеснительный.

Вот и сейчас.

До магазина километра четыре.

И накренившийся к обочине автобус останавливается, чтобы меня подвезти.

Но не ломиться же в него с воображаемой белкой?

Я оцениваю силы. Белк прет, не обращая внимания на автобус. И я машу водителю рукой, полагая, что не надо мешать. Он безразлично машет рукой в ответ, показывая на часы. Следующий автобус будет не скоро.

Мы все идем и идем.

Сколько идем, уж не помню.

Наконец, прошли насыпь. И вот уже виден кем-то сдуру повешенный огромный гамак. А в гамаке живут две огромные росомахи. Что на юге Финляндии, в общем-то, редкость. Эти два черных зверя — достопримечательность. Прохожие смотрят, здороваются.

Белка моего так никто до сих пор не заметил.

Ботинок говорил, что в Финляндии хорошо загорать в межсезонье. И гамак, скорее всего, остался от отдыхающих. Зимой его уберут, если росомахи не против. Но думаю, что как только наступит по-настоящему холодный день, росомахи уйдут. Уведут за собой толпу комаров. Комары на окошко пришлепываются. Ночью с них чешешься. Ясное дело, — раз сплю с лампой, то комары на нее и летят. Пусть их забирают с собой росомахи.

На каждой автобусной остановке реклама — дяденька в трусах и с винтовкой. Антикомариный репеллент. «Предупрежден — значит вооружен». По крайней мере, я так себе эту надпись в голове представляю. Язык все еще не учу…

Следующий автобус будет нескоро…

Вот, наконец, супермаркет. Иматра, дальше граница. От Тууликаллио час с перерывами. Это с учетом того, что я несу с собой вещи.

Туда я беру с собой саксофон. А обратно — рюкзак с едой.

Сам инструмент не тяжелый. Тяжелый только футляр. Он весит и пахнет как дыня. Дыня, пропахшая Марабу и наплеванными им туда бубликами.

Мне уже лень переться до «Призмы». Уж лучше бы все рядом с домом купить. Но Белк непременно желает увидеть супермаркет, — «большой-пребольшой». Выбор сушеной рыбы в крошечном магазине напротив не приводит его в восторг. Сушеной рыбой к пиву с медведем сыт не будешь. Вот рыбка-муйкку копченая! Он ловил ее в озере. Без нее он никак.

Какая важная белка! Я скептически улыбаюсь в сторону русской границы.

В ноябре все озера Финляндии покрываются льдом! Никакой рыбки-муйкку тут не поймаешь.

Не думаю, что Белк когда-нибудь вообще на лед выходил. Его и по асфальту, в общем, шатает. Он сопровождает топанье таким выражением мордочки, будто делает одолжение. Через лес надо было идти! Через лес! Так быстрее!

Но не хватало еще заблудиться в лесу.

— По асфальту ты куда лучше ходишь, — убеждаю я. — А хочешь, автобуса подождем? Разве что только в дверь ты вряд ли пролезешь.

— Тело не ус! — отвечает вспотевшая белка. — Пролезу.

Знаете, что такое скепсис? Я бросаю взгляды на Телониуса Белка. Сфыр. Все лишнее топорщится из него как балласт — кусочки хвоста, ушей, усов и дурацкого, наигранного звериного обаяния.

— Ты пушистая белка, — не удерживаюсь я и загребаю руку в рыжую шерсть. Чувствую под пальцами что-то мокрое. Значит все в порядке. Хотя я и так знаю, что он не исчезнет.

Это как в зоопарке — подходишь к клетке с верблюдом или козой и ощущаешь тепло, дыхание и вдобавок какой-то добрый вонючий пар. Можно даже с закрытыми глазами определить присутствие зверя перед собой, чувствуешь его вплоть до последнего шерстяного катышка через клетку. Дотрагиваться руками совершенно не обязательно.

Теплый вонючий пар — этого в Белке с избытком. Я провожу по его шерсти в очередной раз и внезапно теряю чемодан, ускользающий от меня на дорогу. Остановившись, я поднимаю его прямо перед грузовиком. Я не смотрю на водителя. Водитель оборачивается, здоровается, грозит пальцем. Белку он, к счастью, не видит. Белк сердито отфыркивается — сфыр! — и продолжает свой путь. Ему хочется копченой рыбки с названием муйкку.

На входе у Белка возникают проблемы. Он не может понять принципа проникновения в крутящуюся дверь «Призмы». Приходится протискиваться и выдавливать белку. Саксофон грохается оземь. Слава богу, чемодан не открылся. Его заклинило в дверях между белком и мной.

Строгий татуированный дяденька с подковообразными усами, хочет помочь. Он отставляет в сторону плотно набитые холщовые сумки и придерживает дверь так, чтобы я смог дотянуться до чемодана. Я умоляюще гляжу на Телониуса Белка. Он смотрится в зеркало рядом с туалетом. А мне не до шуток. Ко мне снова подходит усатый татуированный дядька. И смотрит на чемодан:

— Паркер? — улыбается он. — Е-флэт?

Я ужасно стесняюсь. Пожимаю плечами и отчаянно жестикулирую.

— Флет, йе…

— Without a song the road would never end? — настойчиво докапывается он до меня. Огромный, вероятно опасный мужик. Глаза его светятся счастьем.

— Without a song? — повторяет он. Руки показывают игру на саксофоне.

Я опускаю глаза. Without a song… Мне стыдно.

И тут, откуда не возьмись — обиженный Белк. Он не понимает причины задержки. Ему не терпится попасть в магазин. Ему не нравится дяденька. Белк наклоняется, шепчет ему что-то на ухо. Дяденька понимающе отступает.

— Okay-okay, — говорит он. — Easy mate. May the good luck… well, let it be with old farts like me, jazz boy.

А Белк, весь такой важный даже не смотрит в его сторону.

— Что происходит? — спрашиваю.

— Сфыр, — невозмутимо пожимает плечами Белк. — Я его уболтал. И с тебя теперь шапочка.

— Какая шапочка?

— Шляпу хочу, — объясняет Телониус Белк.

Он тычет пальцем в сторону корзины с уценкой.

Там лежат товары идиотского вида или среднего качества. Шляпы вообще — закачаешься. Одна из них дамская. С рюшами и выделкой овечьего меха. Придется показывать это на кассе. И делать вид, что ничего страшного, просто покупаю себе овечью шляпу. С рюшами. Это не страшно. Это чудовищно. А самое чудовищное то, сколько она стоила прежде, чем попасть в корзину с уценкой.

«Золотая кредитка Ботинка — вещь», — с уважением думаю я.

Белк вдруг задерживается в закутке под названием «Алко».

— Не надо, — шепчу я. — Слышишь, ты, свинское чучело, нет!

— Паркер! Флет, йе… — язвительно подначивает меня Белк. Он выбирает с полки стеклянную бомбу с логотипом «Шивес Ригал». — Тело не ус!

Белк у меня совсем взрослый. А я пока нет.

Это ведь мне платить за это безобразие золотой кредиткой Ботинка.

Ну а если не продадут?

Времени на раздумья уже нет, потому что Белк тянется за второй бутылкой. А я едва успеваю подхватить выпавшую из его рук первую.

Белк уже невозмутимо тянется за следующей.

— Тубо! Стоять! Сидеть! — ору я.

Алкогольный отдел принимается смотреть на меня удивленными глазами. Я устраиваю бутылку в корзине поудобнее и как ни в чем не бывало, направляюсь туда, куда хочу больше всего — к стойке, где рассовывают по бумажным пакетам чудеснейший, свежайший развесной мармелад.

Что, думаете, я спасовал перед кассиршей?

Глядя прямо ей в черную челку, я недрогнувшей рукой вытащил бутылку и накрыл шляпой. Дождался, пока кассирша хихикнет. А потом закидал остальными деликатесами из корзинки. В том числе и тремя упаковками рыбы-муйкку! А сверху положил мармелад весом не меньше чем килограммов на пять. Вот что мне нужно… а вовсе не ваш «Шивес Ригал»!

Кассирша с уважением смотрит на увесистый пакет мармелада. Она пристально вглядывается и хватает сверху случайно попавший череп из сальмиака. Глядит на меня не сквозь челку, а откидывает ее со лба. Она съедает сальмиак. Быстро простукивает мне все остальное через кассу — будто играет на пианино. Рыбку-муйкку она брезгливо заворачивает в отдельный пакет и отшвыривает подальше — так, чтобы не запачкать благородный товар. Где-то там, вдалеке ее ловит радостный Белк и танцует. Возражений со стороны кассы не поступает.

Я так и не научился есть эту гадость. Как она это делает? Сальмиак же воняет кошачьей мочой! Лакрицу — еще туда-сюда. Бывает, в пакете попадается одна, а все остальное — сладкое. Но сальмиак! Это же воистину натуральное рвотное.

Может, получится подружиться?

— Темыч! Мозги не компостируй, — напоминает вдруг Эрик Долфи в моей голове. Я понуро бреду в сторону выхода.

Разложив все на рюкзаке так, чтобы Телониус Белк полюбовался, я присел на камень. Честно говоря, я и сам не могу сдержать радости. Сколько мы накупили. Это пикник. Но, к сожалению, для меня это отнюдь не пикник. Пища и саксофон — несовместимо. На мармелад я кидаю особенно грустный взгляд. Мне непозволительно забивать полость рта сладким. И даже пить ничего нельзя, кроме обычной воды. И кока-колы нельзя. Иначе все залипнет к чертовой бабушке.

Сегодня торжественный день. Впервые я играю не для себя, а для кого-то. Конечно, здесь не арена-парк. Но Белк тщательно готовится слушать. Развесил уши. Ковыряется во рту зубочисткой.

Пробую. Такого эффекта, как в прошлый раз, не достигается.

То ли не научился вообще, то ли разучился после встречи с Телониусом Белком.

Тужусь. Губы не раздвигаются. Щель требуемой конфигурации не прорезается. Не каркается, одним словом.

— Сделай так, как будто ты рыбу ешь, — подначивает меня Белк.

Он ничуть не озадачен. Как будто сам ожидал чего-то подобного.

— А откуда тебе знать, как я ем рыбу? — удивляюсь я, приноравливая трость ближе к кончику мундштука.

— Да не знаю я ничего, — отмахивается от меня еловой палочкой Белк. — Но ты все равно рот пошире открывай. И мундштук свой поглубже в него засовывай.

Я представляю огромную рыбу. И открываю рот, собираясь ее съесть. Но когда уже подношу рыбу ко рту, то сразу забываю, как надо дышать. Не легкими, а чем-то другим.

Белк опускает в рот рыбу и ловко выстреливает костью.

Я нахмуриваюсь, отправляюсь за ней с мешком для мусора, но ничего не нахожу.

Рыбья кость испарилась в воздухе.

6

В Тууликаллио завыл ветер.

И завыл он с утроенной силой, несмотря на то, что декабрь еще не наступил.

И еще повалил снег.

А моя финская белка, без пяти минут воображаемый зверь, заболела.

Но на самом-то деле не заболела, а обожралась. Замороженной ремонтантной финской малины. (Ну, если уж хочется мерзлой малины (а ведь был блинный торт), то пусть мается. И шансов на то, что поправится нет. Если ему хочется считать себя безнадежно больным — пожалуйста.)

Выдержать курс лечения заболевшей белки способен не каждый.

Заболевшая белка находится в изолированной комнате.

Она кашляет, прислонившись лбом к окну — специально для того, чтобы звучало погромче. Стекла дребезжат так, как будто по улице проезжает трамвай. Никакого трамвая за окном, разумеется, нет. Где-то вдалеке ездят запорошенные первым снегом автобусы. Там никогда не бывает тепло. Они неуютные, как сугроб на колесах. И водят эти автобусы такие же неуютные дядьки в форме, напоминающую старую советскую школьную…

Двери открываются нежным переливом говорящего табло над водителем. Оно электронное. «Иматранкооски!». Это вовсе не тот «цзынь-бзынь», который издавал трамвай в моем детстве. Все электронное для меня недостаточно музыкально.

Но вот Белк кашляет, уткнувшись лбом в стекло и делает это довольно похоже на звук, которым дребезжали петербуржские трамваи.

Стеклу нравится дребезжать. А Белку — изображать, что нездоровится.

— Черт побери! — кричу я и стучу кулаками по стенке.

Белк изолировал себя в комнате. Лишил к себе доступа. И никакой мочи выдерживать этот курс лечения у меня не осталось!

Мне тоже не повредила бы изоляция. Хотя изоляции в этом быту, купленном Ботинком мне в наказание, не предусмотрено.

Сверху меня контролирует кудрявая бабушка. Снизу к моим звукам прислушивается громила-мотоциклист.

Есть и другие соседи.

Вернувшийся из погибающего под снегом малинника, Белк заперся на кухне. Он завалил дверной проем всем, что попалось под хвост. Теперь не желает открывать и считает, что я виноват. Мне все равно. Пусть не умолкает воображаемый трамвай за немытым окошком. Пусть мерзлая малина, пусть первый снег за окном… Только пусть сегодня виноватым буду не я! Я и так страдаю больше всех.

Разве смешно?

Вы когда-нибудь проводили зимний день в Финляндии с забаррикадировавшейся в кухне белкой?

Первый день зимы хорошо встретить, устроившись в кресле перед камином. Поднимать ноги, укоряя того, кто пришел повозить под ними щеткой или пропылесосить. Заваривать чай. Может, даже читать газеты с кроссвордами.

Хотя чай заваривать не в чем. Камин здесь не предусмотрен. В газетах я ничего не могу прочитать, кроме номера.

Иными словами, я здесь чужой.

Первый зимний день начинается с дребезжания оконного стекла. Стекло прогибается под напором. Если Телониус Белк не выздоровеет — не сомневаюсь, что из вредности он может пойти на такое — то придется вызвать стекольщика. А учитывая, что это медвежий угол — может, и стеклодува.

Этот сфыр постоянно что-нибудь рушит. Дать пинка белке? Крики она игнорирует. Взяла моду — перестукиваться через стенку…

Да, я опять встал не с той ноги. Вдобавок я никак не могу переключить мелодию на мобильнике. Ту, где играет Долфи, терпеть в своем телефоне больше не хочу. И уж точно, не собираюсь под нее просыпаться.

Эй, кто сказал мне не компостировать мозги? Эрик Долфи? Можно подумать! С этого чертового Долфи все и началось.

Последние осенние дни внесли в режим изменения.

Теперь я стучу на пианино по десять, двенадцать, шестнадцать часов, а саксофон осваиваю глубокой ночью. Слышат меня только падающие с неба парашютисты.

Протестов я не вызываю. Их падения меня не касаются. Воронам ведь можно нарушать тишину. Почему же нельзя мне? Всем можно.

Когда я утихомириваюсь и иду спать, пальцы машинально сгибаются. Мизинец, безымянный, средний и указательный. Все кроме больших. Большими я удерживаю мандарин. Или киви.

Я играю на саксофоне во сне, но просыпаюсь с мыслями об «Эстонии».

Знаете, почему?

После того, как начали зажигать фонарь под окном, долго не засыпалось. Белк вроде бы и выпил свой «Шивес Ригал», а все ходил, мерил шагами квартиру. И я устал на него смотреть. И закрыл глаза. Пусть ходит себе как метроном — и усы как палочка дирижера взлетают. Потом вдруг — тоника, доминантсептаккорд, второе разрешение, третье. Вроде бы я заснул, а потом проснулся. Спал, может, от силы час. А Белк сидел себе за пианино и все это время играл, оказывается.

Неожиданно, да? Белк играет на пианино.

А потом раздался уверенный стук в дверь. Бабуля так не стучится. Я посмотрел на часы — половина первого ночи. В такое время стучат полицейские.

Я набросил на Белка электрическое одеяло. Подумать только! Играть на пианино после десяти вечера в Тууликаллио категорически запрещено. А около двенадцати это и вовсе приравнивается к смертоубийству.

Теперь мне придется открыть дверь и впервые увидеть перед собой настоящего полицейского Тууликаллио. Он живет в трех километрах отсюда и наверняка эти три километра пешком показались ему холодными и неудобными.

Делать вид, что меня нет в квартире, бессмысленно.

Я даже не посмотрел в глазок. Сразу открыл. А открыв, понял — полицейский остался сегодня дома. Меня убьют без суда, не прибегая к помощи полицейского.

На лестничной клетке все — старуха с кудряшками, старуха без кудряшек, скрюченная тощая швабра, передвигающаяся гусеницей, огромный мотоциклист с брекетами, как у подростка, и девушка в колючей искусственной шубе.

Представляете себе этот ночной кошмар?

Добавьте, что под шубой у девушки ничего нет. А мотоциклист держит в руках недопитую банку. Старушки и вовсе выглядят так, точно их выдернули из кровати, в то время как они валялись там с капельницей.

— Извините, — покрываюсь потом. — Антекси.

Но все почему-то смеются. Девушка в шубе делает реверанс и протягивает мне завядший цветок на резинке. А мотоциклист хлопает по плечу и торжественно произносит: «Раунд Миднайт!»

Толпа рассасывается.

И мне теперь можно играть по вечерам и даже по ночам.

Странные вещи теперь происходят.

Я просыпаюсь. Слышно, как Белк заваривает морошковый кофе — удивительная дрянь по лесному рецепту.

В ответ на утренний стук в стенку двумя кулаками, раздается два вежливых резких и сильных удара — а потом сразу же мягкий.

Первые два — это Белк, понятное дело стучит своей лапой. А мягкий удар — хвостом. Шлепает по обоям. Это означает — привет, с добрым утром, не желаете ли чашечку морошкового кофе, любезно протянутую вам через дверь. Спасибо! Однажды уже отхлебнул. Спасибо, больше не хочется.

Выпив морошкового кофе, Белк начинает мычать.

Он готовит пряничные тосты с клубникой. Высовывает в форточку голову. Проветривает обожженные тостами усы. Люди не обращают внимания.

Я ударяю в стену изо всех сил. Бам-м-м! Кудрявая бабушка выстукивает по батарее «SOS». Белк в ответ делает мотаунский брейк. Мы перестукиваемся. Нам лень выходить и общаться. Кудряшка уже сто лет не выходила звонить в дверь. Дом напоминает следственный изолятор.

Можно подумать, что я сейчас сержусь. Но я не сержусь. Мне хочется тостов с клубникой. Что вам про них сказать? Эти тосты придумал я. Белк лишь усовершенствовал, изобрел особенный способ делать их пряничными, поливая клубничным кефиром так, чтобы выступила глазурь.

Я наливаю воду в синий пластмассовый таз и нагреваю ее при помощи старого кипятильника. К Белку за чайником мне все равно не пробраться.

О том, кто настоящий хозяин в доме, напоминает беличья шерсть. Пощекотав нос, шерсть заставляет меня чихнуть. И я чихаю, наверное, уже в миллионный раз за неделю.

За эту неделю кухня превратилась в натуральный бедлам. Не просто бедлам, а бедлам с фантазией — развешанная на ниточках рыба, шампиньоны, заменяющие шишки, которые Телониус Белк не может есть из опасения повредить челюсть.

Вот указания где орех или гриб. Белк склонен к забывчивости. Грибами его не заманишь. С утра он предпочитает пряничные тосты с клубничным вареньем.

Берем варенье клубничное. Шлепаем полную ложку на тостовый хлеб. Потом обваливаем все в сиропе. Дальше, представьте себе, в ход идет густой финский кефир.

И, раз тостера у нас уже нет, мы заряжаем получившееся на двадцать минут в духовку.

Я называю получившееся тостами.

Ну а Белк называет их сфырники.

У каждого свой рецепт. Он больше напирает на кефир. Но на вкус, мои тосты не хуже беличьих сфырников.

Любовь к блинному торту ушла. Мы его переели. И пройдя этап увлечения ремонтантной малиной, переключились на сфырники так, что за ушами трещит.

— Будешь морошковый-то? — Белк говорит через стенку, а голос как будто рядом совсем. — Пряничка? Ремонтантной малины? Беличий тост? Нет?

— Нет.

Сажусь за «Эстонию».

Голос командует. Ровнее! Смелее! Слышно, как обладатель голоса сердится и давится морошковым кофе. А то вдруг берет хвост и начинает дирижировать — тюк, шлеп.

Слабая доля выделяется хвостом. Сильная — чем угодно.

Пользы от этого тюк-шлепа больше, чем мог бы дать метроном. И есть лишь одна причина, по которой я умоляю белка так больше не делать. Мало неразбитой посуды осталось. Я пью из пластиковых стаканчиков. Белк пижонит, предпочитая кружку из глины. Когда Белк ее раскокает, придется переться за новой. Есть вещевая барахолка с туристами. Там я видел такую же кружку. Но к туристам я идти не хочу. Потому что боюсь встретить кого-то из прошлой жизни.

— Помолчи, Белк! — требую я.

Высовываю на улицу голову, хочу продышаться.

Прошлая жизнь тянет на дно, будто якорь.

Я знаю, что к концу учебного года мне придется вернуться. Я надеру задницу всем. Особенно Мямлику. Да и Горжетке.

— Пройдите к доске!

— Тюк! Шлеп! Сфыр!

Экзаменов я не боюсь. Я боюсь лишиться тюк-шлепа. Ночью сквозь сон слышу — тюк шлеп: Белк играет с приглушенной декой. И понимаю что мне повезло.

В начале декабря Белку надоедает болеть.

Вначале в щелочку видны усы. Левая, а потом правая щеточка. И нос. Потом озадаченный глаз — то левый, то правый. Сфыр! Верхний слой баррикады с треском обрушивается.

Уже может протиснуться человек. Или примерно половина белки. Или Белк без хвоста. Далее — вхолостую.

Я радостно вскакиваю. Разгребаю всю баррикаду, разбираю завал из теплых вещей и диванных подушек. Отбрасываю все в сторону. И Телониус Белк невозмутимо приходит ко мне на диван. И смотрит при этом на прекрасный, регулируемый по высоте крутящийся стульчик.

— Тело не ус. Стульчик…

Знаю, на что Белк рассчитывает, подбираясь поближе — покрутиться на стуле. А у меня куча дел. Я разбираю прогрессию, вспоминаю все что знаю о заменах и тренирую туше.

Белк протягивает истоптанные лапы, морщится — зябко. Потягивается как человек — никаких звериных повадок. И заворачивается в хвост. А я не пойму — то ли белка дурью мается, то ли действительно холодно.

— Декабрь, — наконец изрекает Белк.

Он делает большой глоток морошкового кофе. И откидывается на спинку, будто болит спина.

— Солнце, луна, — продолжает он рассуждать. — И хоть ты наголо подстригись, никто не заметит.

Я незаметно выключаю Монка. Играю уже просто так. Ни для себя, ни для Белка. Жду, когда Белк поставит в наблюдениях точку.

— Скверно.

Звучит, как выстрел в финале спектакля про любовь.

За окном каркают вороны. Наверное, вместо аплодисментов.

Навострив уши, продолжаю играть. Но что-то совсем полудохлое.

— Ни одной трубы не дымит… — продолжает подводить итог Белк.

Это следует понимать в переносном смысле. «Обойдемся без стульчика».

Я перебираю нотные записи. Белка делает попытку крутануть меня вместе со стульчиком. Я останавливаю его взглядом. И Белк надолго отворачивается к окну. Странная эта привычка смотреть в окно, будто окно — телевизор.

— Знаешь в чем проблема, — спрашивает он у приземлившейся на окно вороны.

Ворона прислушивается. Может, она даже знает, в чем проблема у белки. Но сценарий подразумевает, что за звук в его телевизоре отвечать буду я.

— Ни одной трубы не дымит, а жизнь течет медленно-медленно.

Отшвыриваю ногой стульчик и вдырявливаюсь в мягкий диван — разбирать аккордовую прогрессию.

Белк садится на стульчик и начинает кружиться.

Ворона ест чей-то труп.

Я играю одну бесконечную ноту. Нота течет. Растворяется в воздухе медленно-медленно.

Медленно в Тууликаллио все течет, это уж точно.

Белк — единственное, что движется… непредсказуемо.

Мне нравится, как он играет на пианино «Раунд Миднайт».

Инструмент он довел до ручки.

Инструменту кирдык.

«Эстонию» еще можно при желании раскочегарить, но вот клавиша соль третей октавы западает, а две другие — вываливаются.

Все вокруг постепенно становится медленным и тугим. Даже часы с троллями останавливаются.

Я ломаю в руке карандаш, которым минутой ранее отмечал сильные ноты. Белк бьет хвостом о коврик. И уже довольно долго, надо сказать, так сидим. Мгновение перед взрывом затягивается.

— Знаешь что, — неожиданно тявкает Телониус Белк. — Мог бы и послушать меня хоть раз. Ведь играю я лучше. Или неправда?

— Правда. Да только не слышит никто.

Я стучу в стену и не получаю никакого ответа.

— А кто слышит?

А кто говорит?

— Баронесса Панонника… — кричит набаловавшийся со стульчиком Белк.

Вот про эту Панасонику надо бы поподробнее.

То она у него с усами, то ходит на четырех ногах и в бальном платье с вырезом на всю шерстистую спину. То по лампочкам стреляет из револьвера для развлечения, то на пианино играет как морской черт. Отец ее — то кукурузный дьявол, то сибирский миллионер.

Баронесса, пробывшая месяц укротительницей диких зверей и больше никогда не работавшая. Баронесса фон Панасоник всю жизнь собиравшая коллекцию попугаев, которые однажды потрепали ей лицо так, что та стала похожа на росомаху.

Телониус Белк ее очень любил — как «Шивес Ригал» и фортепиано. А когда ему надоело играть, он лег на кучу грязного белья и шесть лет не шевелился. А Панасоника любила его даже лежащим в грязном белье. Белье так и осталось нестиранным. Жизнь Белка была разбита.

— Панасоника… — чешется Белк. — Если придет, пусть стучит в дверь…

Да, пускай стучит в дверь и погромче. Что интересно произойдет, если послать ее на русском — например, за продуктами?

Белк, закроет лицо хвостом и своим грубым какашечным голосом заорет прямо в хвост: «Сфыр».

Сфыр…

Нет играю я действительно хуже белки. К сожалению, это правда. Даже сравнивать не приходится.

Хуже белки.

Лекции начинаются спозаранку.

Белк откашливается.

— Почему я играю так хорошо? Потому что я никогда не сгибаю пальцев.

— Извини? — приходится отвлекаться на то, чтобы заточить вторую половинку карандаша. Точу ее до состояния спицы. Потом обламываю слишком острый кончик. Потом снова точу.

Белк принюхивается.

Я делаю брови домиком.

В ответ он отпихивает меня от пианино и начинает играть зверский регтайм — и хвостом, ну прямо как метрономом отстукивает. Победоносно смотрит на лапы. Это такие лапы, что и вовсе без пальцев обойтись можно. Они у него как две коряги. И будто две жабы на этих корягах сидят — кожаные пупырчатые подушечки.

— Я никогда не сгибаю пальцев, — с удовлетворением произносит Телониус Белк. Так, словно напоминает себе об этом в очередной раз.

Я знаю, где у Белка сгибаются пальцы. Не в том месте, где нужно их сгибать, сидя за пианино. Они сгибаются в районе коготков. Это для того, чтобы схватить, скажем, картошку и отправить ее в рот целиком. А чтобы есть блинный торт, ему требуется столовый прибор. Белк забавно прижимает его двумя лапушками. Рыбку-муйкку он просто-напросто всасывает из горсти. Я наблюдал это по меньшей мере сто раз и ровно столько же давился при виде такого негигиеничного безобразия. Сгибались бы у него пальцы — давно бы научился есть как человек.

Белк сидит передо мной будто сказал что-то важное.

Хорошенько заточив карандаш, я начинаю напевать «Раунд Миднайт».

— И никогда не сгибал! — кричит Белк.

Да, да! Видели бы вы его пальцы!

— Поэтому и получается хорошо, — гнет свое Телониус Белк.

Действительно хорошо.

— Спорим? Не сгибай пальцы и все начнет получаться.

Белк невероятно азартен. И обидчив. Сожрал недавно игральный кубик от старой «Монополии» и разродился им на горшке. Первый вопрос: «Сколько же выпало?» Я рассердился, спустил воду. А он полвечера дулся.

— Получаться! Само собой!

Чтобы не обижать его лишний раз, я заключаю с Белком пари. Таинственное пари при свете ноябрьской луны. Еще нет шести вечера, а луна уже светит в окно светом обглоданной кости.

Мы скрепляем договор рукопожатием и НЕСОГНУТЫМИ пальцами. Пожимая мне руку, Белк втягивает коготки. Получается так, будто тискаешь мягкую игрушку. И я лишний раз убеждаюсь, что такой лапой играть невозможно. Но зная, что вытворяет ей Телониус Белк, уважительно жму посильней, а потом и вовсе не хочу отпускать эту игрушечную мягкую лапу. Я желаю, чтобы все наконец получилось, а договор наш вступил в силу как можно скорей. Черт знает, ведь хуже уже не будет. Потому что хуже, чем я не играет никто. Даже обычная белка играет куда лучше меня. Настолько лучше, что уже дает мне советы. А кто знает? Вдруг все получится?

Может и правда получится?

Перед тем, как пожать лапу Белка я незаметно беру аккорд, не сгибая пальцев. Получается, конечно же, полная ерунда. Так что вряд ли я выиграю.

7

Никак не могу взять в толк, как несогнутые пальцы помогут мне научиться играть.

У меня был шанс научиться играть как Арт Тэйтум. Но сейчас какой-то сфыр учит меня пальцы несогнутыми держать.

Играть…

От Белка ведь теории не добьешься. Вместо того, чтобы взять свою лапу и на ней объяснить, он рассказывает, как за ним гнались собаки.

— Понимаешь, — делает страшные глаза он, — самая злая собака — та, что на поводке сидит.

— Если на поводке, то не страшно…

— Нет. Это страшно. Потому что когда она сорвется с поводка, она будет сильнее собаки без поводка.

Представляю себе огромного, злого привязанного цепью к забору буля. Ладно, питбуля, или кто там страшнее? Забор раскачивается. Рано или поздно собака снесет этот забор. Или порвется цепь. Как будто пса зарядили в рогатку. Если сорвется, то выстрелит с утроенной силой. Чем дольше он остается привязанным к забору, тем выстрел сильнее.

— Несогнутые пальцы — это выстрел и есть, — мрачно подводит итог Белка.

Я рисую на полную клавиатуру. Сажусь на колени и начинаю примерять по ней пальцы — то так, то так.

Проходившие мимо бородачи в оранжевых капюшонах восхищены. Я кажусь им маленьким отмороженным Моцартом. Отмороженным — потому что у этого Моцарта не сгибаются пальцы.

Играя в питбуля, я просидел бы так час, но, услышав саркастический смех вороны, вскакиваю и отряхиваюсь. Белк?

Надо мной уже смеются вороны.

Приходится все зачирикать.

Я делаю это с видом принцессы, застуканной в ванной с прыщевым лосьоном.

Да, я действительно стесняюсь ворон. А вот людей в колпаках-капюшонах я уже давным-давно не стесняюсь.

Но в целом все ясно.

С сегодняшнего дня, разучиваю привязанного к забору кабыздоха.

По саксофону тоже много вопросов. Почему он ударный, а не духовой, например. Почему пальцы здесь вроде как не нужны, хотя и на несогнутых особо не поиграешь.

— А что, на саксофоне тоже пальцы не надо сгибать?

…и еще много такого, о чем Марабу не рассказывал.

До всего требуется доходить самому. Саксофон вываливается из негнущихся пальцев Телониуса и показать мне что-либо он не в состоянии.

— Давай купим телевизор, — уходит от ответа Белк. — Столько информации сразу не переваришь. Какая-то каша!

Купить телевизор! Уж лучше проведем интернет!

За все время пока я здесь (натикало уже ровно три месяца без недели) от Ботинка было получено три звонка. По звонку в месяц. Я получил массу инструкций. О том, как выносить мусор, как следить за лютиками на подоконнике и как расплачиваться на кассе, чтобы не сперли номер кредитки…

Серьезных вопросов Ботинок не задавал. Умею ли я говорить по-фински, есть ли в доме теплые носки, чтобы не шататься по холодному полу почем зря, выучил ли я танец феи Драже, чтобы сыграть его с какой-нибудь финской принцессой под арфу.

Но о покупках он знает. Ботинку приходит отчет о каждой операции с карточкой.

Извиняясь за телевизор, я специально напущу на голос туман, чтобы он задумался. А если он и не задумается вовсе. Нечего тогда и туман напускать…

Наш автобус — прямо до барахолки. Просто замечательно. Не стоит забывать, что сегодня субботний день и народу в Иматре будет больше чем муравьев в каком-нибудь муравейнике.

Телониус Белк висит, приклеившись к потолку воздушным шариком, чтобы никого ненароком не напугать.

Белк! Сфыр! Тсссс…

Опыт показывает — если сильно кричать, огромную белку будет видно не только мне, но и некоторым окружающим.

Я плачу за двоих.

Водитель пытается разглядеть впереди меня отца или старшего брата. Потом жужжит машинкой, выписывая чек за двоих.

Это будет небольшой благотворительный взнос. В карманах полным полно мелочи с возвратных бутылок.

Выйдя из автобуса у театра, мы держим путь в сторону барахолки и оживленно беседуем. Это выглядит так, будто я читаю текст по ролям. Русские оборачиваются, слыша родные слова в непривычном контексте. Белк! А потом наоборот — Монк!

Сфыр!

Подключить телевизор без посторонней помощи так и не удается. Антенны нет. Он стоит в квартире без дела.

Я влезаю в валенки, которые в Тууликаллио еще ни разу не надевал и отправляюсь к черту на рога — заниматься на саксофоне.

Вот я уже у черта на рогах. Взобрался на гранитный валун. Разогреваю негнущиеся пальцы. Все никак не могу понять зачем. На саксофоне хоть негнущимися, хоть какими играй — суть не в этом.

А в чем? Да ни в чем.

Расположение нот я знаю идеально. Гоняю со скоростью пожарной машины. А ощущение инструмента пропало. Почему я не могу просто взять и аккорд из «Эстонии» перенести на духовой инструмент?

Потому что я олух царя небесного.

Пианино всегда спружинит и обязательно подкинет руку в правильном направлении. Одна рука тянет за собой другую. Любая манера игры, это всего лишь походка. Какой бы кривой она у тебя не была, одна нога обязательно потянет за собой другую. Нужно иметь проблемы с моторикой, чтобы ноги пошли вразнобой.

Ставишь руки одну за другой и все, ты уже наверху, в четвертой октаве. Оттуда можно только спускаться.

А здесь?

Здесь руки, будто в одной шеренге идут. А губы в другой.

Прямо передо мной старое, покосившееся дерево. Старое, но еще не трухлявое Кривое и больное на вид. На дереве пауки — это в такой-то мороз!

Рассматриваю пауков, а они, может, уже и не дышат вовсе.

Итак, пауки!

Вздохнув поглубже, я пробую издать любимый свой звук. Это концертный ми, он напоминает о туманной сирене.

Как по заказу — на горизонте Телониус Белк. Он бурчит под нос разудалые песни. Они напоминают шарады. Первые две строчки делят ее на две части, а последняя собирает мотив целиком. Это диксиленд. Там это принято.

— Белк! — кричу я изо всех сил. — Как мне повыше-то прыгнуть?

— Видишь ли, — рассуждает пушистый философ откуда-то сверху, — везде свои разности. Можно и прыгнуть. А можно ниже спуститься.

Голос уже внизу. Но самого Белка не видно.

— Слушай, — вспоминает сверху он вдруг, так, словно забыл кило морковки в магазине. — А ты альтишь вообще?

— А?

— Альт у тебя альтит, черт возьми? — кричит белка. — Или тенорит?

— Что? — ору я в ответ. — Альтит! Гепатит! Еще не знаю. Не понял еще.

— Ну и сиди тогда. Сфыр!

Мне становится одиноко.

— Не белка ты! Марабу! — чуть не плачу я.

— Не белка, — огрызается Белк с необъяснимой упрямостью. — Тело не ус!

— Что же мне делать? — кричу я уже не для Белка, а для себя.

Тратить время на ежедневные гаммы откровенно достало. В футбол хочу гонять, а не гаммы. Хоть и не гонял никогда раньше в футбол ни разу. Одни только гаммы гонял. Что еще хочу делать? В интернете хочу сидеть. Телевизор. Купаться, в конце-то концов, хочется!

— Сфыр! — кричит Телониус Белк. И лезет по дереву. Совсем как тогда, когда мы впервые встретились.

Я отворачиваюсь, чтобы лишний раз не раздражаться. И вдруг сталкиваюсь с еще одной проблемой.

И не просто сталкиваюсь.

Практически утыкаюсь в нее лицом.

Это девушка в искусственной шубе, которая радостно машет рукой.

В левой руке нагруженная сумка.

Как она оказалась здесь? Это задачка несложная. От магазина сюда ведет лишь одна дорожка. В школу она тоже ведет.

Интересно из магазина она сюда шла или… из школы?

В холщовой сумке — два фугаса с поджаривающимися на углях гномиками. Продают здесь такой газированный кипяток. Называется «Гасс».

Продают его только в продуктовом сарайчике. Больше нигде.

В сарайчик ходят по дороге из школы или… если лень дергаться в супермаркет.

За плечами у Шубы рюкзак. Он выглядит школьным: яркий и глянцевый. Но школьника с таким глянцевым рюкзаком в Тууликаллио не увидишь. Школьники предпочитают невзрачного цвета мешки. Некоторые носят солдатские. А тут портфель, хотя и без ручки, с лямками для спины. Похоже на школьный ранец. Ни одного острого угла, солидные застежки, яркая аппликация.

На всякий случай, напускаю на себя безразличный вид. Девушка в искусственной шубе идет мне навстречу. И улыбается.

Судя по нескромным обстоятельствам, отпечатанным на ее фигуре — школу она уже закончила.

Что у нее в планах?

Сфыр!

Я показываю на саксофон, а потом на пауков — сдохли пауки, незадача. А она непонимающе вертит головой — чего? Пауки от моей музыки дохнут, вот чего.

Жду, что произойдет дальше.

Искусственная шуба не торопится продолжать разговор. Думает, что я ее еще что-нибудь покажу или сыграю.

А я продолжаю смотреть на пауков. Ждать, что я что-нибудь покажу для нее интересное, бесполезно. Шансов на продолжение разговора у меня не больше, чем у этих пауков на потомство.

И Шуба это тоже понимает. Она тычет пальцем в пауков и мотает головой очень решительно. Потом хватает меня за куртку, разворачивает и показывает свободной рукой вперед. Там пахнет ветром и морем. Я слышу как где-то там, вдалеке, тусуются огромные чайки.

— Финниш Галф.

Это первое, что приходит мне в голову из школьной программы.

Искусственная шуба поправляет меня:

— Зе Галф оф Финланд.

А я развожу руками. Не говорю по-фински!

— Эх ты, — советует Телониус Белк. — С ней можно и по-английски поговорить.

Он тщательно вглядывается Шубе в проем, остающийся в такой мороз открытым — вырез повыше запястья.

Приходится дать Белку пинка.

Шуба удивленно поднимает брови вверх.

Одета она довольно странно. Из-под никогда не снимаемой шубы — всякие рюшки да сеточки. Кожа в вырезе у Шубы просматривается совершенно белая. А вот лицо у нее смуглое.

Я в замешательстве.

Все, что мне остается, это продолжать рассматривать пауков, которых сдувает порывами ветра.

Вдруг Шуба щелкает застежками школьного портфеля и вынимает оттуда светоотражательного человечка.

Это мальчик.

Второй светоотражательный человечек — девочка. Он висит на портфеле. Она отщелкивает его, соединяет оба светоотражателя между собой и те начинают держаться за руки. Она направляет их в сторону «Финниш Галф» и приглашает полюбоваться тем, что получилось.

Улучив момент, я ухожу лесом в сторону автобусной остановки.

Думаете это было легко? Вовсе нет.

И по дороге домой все пытаюсь подраскрутить эту ситуацию в свою пользу.

«Финниш Галф… Не Финниш Галф», — бормочу я.

Учить теперь языки.

А когда?

8

Чтобы начать сносно играть негнущимися пальцами приходится долго тренироваться. И не день, и не два. И не час, и не восемь. Я, впрочем, сижу всего час, но уже устал до чертиков.

— Сфыр, — говорит белка. — Делай как сфыр.

— При чем здесь твой сфыр? — огрызаюсь я.

А он говорит:

— Сфыр — это сфера.

И ведь не в первый раз Белк заводит про эту сферу разговор! Кажется, пора бы уже сделать расследование.

В интернете я уже все посмотрел. Сфыра — понятие многозначное. Сфыра, она и есть сфыра. Это и то и другое и третье. Но только не то, что мне нужно сейчас.

Про негнущиеся пальцы в Википедии ничего не написано.

Может быть, я спрашиваю как-то не так?

Ауууу, Белк! Что значит сфера?

Может начать, с того, что такое «Телониус Белк»?

Телониус Белк смотрит на меня, как на глупого:

— Есть квадратный белк. А есть сфырический.

Тогда я рисую на бумажке квадрат. И вписываю в него то, что кажется мне сферой. Двигаю под нос Белка то, что у меня получилось:

— Сферический белк лучше? Лучше квадратного?

Белк презрительно сфыркает. Он занят очисткой клубничного тоста от шерсти.

Понимать это следует так. Есть круглый дурак, есть квадратный. А вдобавок ко всему есть, конечно, сферический.

Посмотрев на него со стороны, так и не скажешь.

— Сфыр, сфыр, сфыр, — приходит мне в голову мысль. — А что будет, когда до меня дойдет как негнущимися играть? Что будет, когда я твою школу освою? Поможет мне это или же нет?

— Нет, — лениво отвечает Белк и берет комикс. — Мне не особенно помогло. Но больше никто так не делает. Будем с тобой — два сапога сфыра.

Вот это я понимаю — новости.

— Раньше как было, — невольно впадаю я в беличий поучительный тон, — раз-два-три-четыре. И так всю жизнь. И вся жизнь вертелась по счету «раз-два-три-четыре». А тут какая-то ерунда. Пальцы не гнутся. И счет не идет. Ломается все то, чему меня учили.

— Переучиваться всегда сложнее, — замечает Телониус Белк. — А обратной дороги и вовсе нет.

Переучиваться с одной техники на другую — это же еще года на три мороки!

— Я лучше буду как раньше играть.

— Валяй, — бурчит Белк.

— А на несогнутых — только тебе. Сфыр? — примирительно хлопаю по плечу в надежде что последует сфыр ответный.

— Давай-давай, — говорит Телониус Белк безразлично.

Я подхожу к пианино и с грохотом разрешаю аккорд. Бац. Пальцы не сгибаются. Бац, — ударяю я еще раз, — Раз-два-три-четыре. Бац! Не сгибаются. Ритм выходит хромым, с синкопированным перестуком.

Белк не обращает на это ни малейшего внимания, листает журнал растопыренной лапой, а второй закрывается от солнца.

Я злюсь. Я уже комок нервов. Хотя быть сплошным комком нервов несравнимо лучше чем быть просто, хм, комком. Может быть, когда ты комок нервов — это и означает как сфера?

Еще чего не хватало!

Я просто злюсь и все!

Осваивая фокус с несгибающимися пальцами, я начинаю все забывать. Все что имело значение раньше, кажется мне теперь более-менее пройденным и освоенным.

Теперь главное — сделать из пальцев сосиски.

Но подготовить сосиски к клавиатуре чудовищно сложно. Еще сложнее сесть за рояль.

Зато поиграл — и не замечаешь как время прошло.

Как будто посуду помыл. И руки от черноты под ногтями. Хочешь помыть руки после посуды, а черноты и нет никакой, сама вымылась.

Может и правда — обратно не переучиваться?

А может придумать что-то кроме этих музыкальных занятий? И все проблемы на сегодняшний день покажутся не такими уж важными. Но ведь так не может продолжаться до бесконечности. Это на клавиатуре чуть больше ста нот, а в жизни их куда больше.

Кто-то жжет осенние листья на крыше. Горьким и солоноватым кажется запах костра за окном.

— До бесконечности, — кивает Телониус Белк. — Тело не ус! Бесконечность. Понял свою проблему?

— Нет! — делаю я шаг назад. — У меня вообще нет проблем.

Белк горестно сравнивает схему бумажного кораблика в детском журнале с тем, что у него получилось. Кораблик летит в мусорное ведро. Ножницы тоже можно выбрасывать.

Сам пусть попробует, а потом командует.

Сфыра!

Позанимавшись еще неделю, я понимаю, что еще раз схожу с ума. Предыдущее помешательство сходит, как чернота под ногтями.

Я совершенно не помню о том, как и чем я жил до того, как однажды с елки спустился Телониус Белк.

Из всех проблем неразрешенней всего мне кажется свинство на кухне!

Липкие стены. Потолок закоптился.

Мы давно едим в комнате.

Копятся и копятся грязные тарелки со сковородками. Объедков вокруг, как будто кто-то специально пустил погулять козла с больным желудком. Лампочка перегорела еще в ноябре.

Генеральная уборка откладывается и откладывается.

Я направляюсь на кухню. Включаю зеленую лампочку от метронома и начинаю размышлять вслух.

Из кухни хорошо видно, чем занят Телониус Белк.

Едва крутящийся стульчик освобождается, он шлепается на него, как морской лев. Потом вдруг пробежит по всей клавиатуре очень странной инопланетной гаммой — чарабарабапарабурапуньк-шпоньк. И играет — вначале как барабан, потом не как барабан, потом опять барабан. Чпоньк.

Пальцы его никогда не сгибается.

А потом он останавливает стульчик и засыпает.

Похоже на кресло мешок, которое набивается изнутри поролоном.

Пусть спит. Самое время невзначай прогуляться.

На улице холодно. Игру на саксофоне хочется отложить как минимум месяца на три. Я перебираю клавиши. Играть не хочу. Но не хочу себе в этом и признаваться.

Бумс — вылетает из саксофона самая маленькая пружинка. Бамс — вылетает следом за ней пружинка побольше. Бумс-бэмс-бамс — вылетают за ней еще как минимум три.

Разбуженный Белк рассматривает инструмент.

Потом смотрится в него. Долго-долго.

Он даже пытается надраить его тыльной стороной кожаной лапы.

— Это Мартин, — наконец ухает он. И без зазрения совести шмякает его на пол.

Он что, думает, я буду называть саксофоны по именам?

— Шмартин, — выругиваюсь я.

Просто для того, чтобы дать саксофону характеристику.

«Мартин» лежит на полу.

Белк встает на все лапы и начинает обнюхивательную экспертизу.

Потом выносит вердикт.

— Это Мартин. Он неправильный. Для классики. На таком не играют.

Гром среди ясного неба.

— Играют же, — говорю я.

— Не играют. Для классики, — упрямится Телониус Белк.

Марабу…

— Ну, а откуда ты знаешь?

— У Чарли было три коня, — говорит нараспев он. «Этому дала, этому дала, а этому не дала» — Конь Коньквер, Конь Чу Берри и Конь… Забыл. Может быть, Кьеркегор? А Мартинов не было. Печатная машинка была у Чарли? Нет. Это уж точно.

Я вспоминаю картинку с печатными машинками. Действительно что-то от печатной машинки в моем саксофоне было. Хоть книжки печатай.

— Тело не ус! — говорит Белк. — Звони отцу. Покажи ему.

— Интересно, и что мне ему показать?

— Покажи ему сфыр, — отзывается Телониус Белк из ванной. Он включает там воду так, чтобы душ трещал и сопротивлялся.

Белку уже не интересна возня с саксофоном. Он обожает, когда душ бросается на него как змея. Он купается по шесть раз в сутки, не утруждая себя воду нагревать. А я иду звонить отцу.

Должен же он снять трубку когда-нибудь, в самом деле.

— А, привет, дядя Шарик! — хрипит Ботинок. Звук доносится на фоне музыки, какого-то шипящего старья с пластинки — радиопередача «Для тех, кто любит танго», а не звонок из Финляндии.

Голос Ботинка хриплый, динамик телефона тоже весьма хрипловат.

— Я слушаю, — хрипит Ботинок.

Я сбивчиво пытаюсь объяснить проблему в двух словах.

Ему тоже плохо слышно.

— Видишь ли… у Чарли было три коня. Конь Конквер, Конь Чу Берри и Конь Кьеркегор.

— Что? — говорит Ботинок сквозь бурю помех. — Ты про что вообще? А, про саксофоны?

Что-то щелкает и голос Ботинка становится отчетливо громким:

— Я не могу сейчас с тобой говорить. Пожалуйста, извини.

Без проблем, Ботинок, в следующий раз.

Вероятно, Ботинок сейчас действительно очень и очень занят. Может, пожар тушил. Может, спасал вещи из горящего дома.

Все это уже неважно.

— Белк! — кричу я.

Из ванной комнаты высовывается морда.

— Гулять!

Морда отряхивается. Белк с готовностью изображает активные сборы и машет лапами на манер конькобежца.

— Гулять, Белок, — я сбавляю тон.

Гулять просто так, без саксофона — прекрасная идея. Как только мне раньше это в голову не пришло.

Белк ненавидит, когда его называют собачьим прозвищем «Белок», хотя для меня это всего лишь способ переноса удара с сильной на слабую долю. Хорошая игра в отсутствие саксофона. БЕлка — белкИ! БелОк — белкИ! Беее-лок.

Это звучит как шаффл. Как будто ты обвел щеткой весь барабан и, замыкая круг, ударил по самому центру — там где пружинка дрожит. Не та, что на саксе, а та, что сплетает барабан поперек Белк, белк, белк — а вот и пружинка та самая.

Мы отправляемся гулять немедленно.

Выбежав на проезжую часть и подставив лицо под мороз, я едва не попадаю под машину. Здесь очень большое движение.

Надо всегда иметь это в виду.

Откуда на беличьем хвосте эшелон насекомых?

Где он их умудряется подцеплять в декабре?

Одна, вторая, третья. Скачут как акробаты.

Белк перечисляет попадающиеся маленькие машинки. Бросается наперерез и издалека кричит:

— Я бы на такой ездил. Да, на такой!

— Не поместишься, — с сожалением говорю я.

— А на такой?

Постепенно мы выбираемся в места, где нет машин. Это угрюмый лесной ландшафт. Он пересечен заброшенной товарной железной дорогой. Где-то вдали виднеется свет, Свет манит нас, как насекомых.

Интересно, свет настоящий? Или это типа Телониуса Белка, галлюцинация от зимнего одиночества?

Оказалось, дом с сауной. Ничего экстраординарного. Не волшебный фонарь. И не пряничный домик.

— Да-а, — задумывается Белк о чем-то своем. Он погрустнел. И даже лицом посолиднел и вытянулся.

А я прячу все мысли в этот дом и наслаждаюсь гулкой пустотой в черепе.

— Отдохнуть бы.

Белк поднимает вверх большой несгибаемый палец. Отдохнуть! Опля!

Через секунду мы бросаем друг в дружку снежки.

— Перезагрузка! Вечеринка! «Шивас Регал»!

— Сфыр, — уворачивается от тяжелой снегулины Телониус Белк. — через неделю опять Рождество!

Я замечаю, сколько всего появилось на улицах.

На деревьях распустились картонные раскладушки.

Появились картинки с собаками, оленями и Санта-Клаусами, не пролезающими в печную трубу.

Кто-то забросил на дерево перед нашим домом фонарь. На автобусной остановке разговаривает радио.

В центре поставили махрово-ворсистую елку.

Освоившись с шоколадным календарем, я каждое утро включаю радио и безошибочно определяю канун.

Белк ушел в город за шваброй. Она нужна для экологической ели — ели из накопившихся зеленых бутылок. Идея проста. Собрать зеленые бутылки и напялить на швабру.

Где Белк возьмет в лесу швабру — ума не приложу.

Рубить живую нельзя. Купить — так из города мы ее не дотащим. Настоящую елку, тем не менее, хочется. Пусть будет хоть что-нибудь настоящее. И мы договорились, что сразу после полуночи пойдем в лес наряжать ель. А по дороге выкинем эту экологическую.

«Поработа порабонде, Андреу Попандреу». — говорит радио на чужом языке.

Белка все нет и нет.

Кручу ручку радио, надеясь поймать то, что звучало из рупора радио на автобусной остановке. Не то, чтобы высший пилотаж, но песенка клевая.

Похоже, радио отказывается передавать финские передачи. Там сплошные помехи. Как будто в космос одним ухом высунулся. Иногда попадаются голоса на смешном языке. Это румынский.

В конце концов, я не выдерживаю и сматываюсь в город, смотреть на то, что называется городской елкой. Завтра с утра ее разберут.

Снег под ногами еле слышно поскрипывает.

Раз-скрип, два-скрип. Не могу с собой поделать ничего, считаю шаффлы. Кто-то на облака смотреть не может, потому что в них картины мерещатся. А я считаю звуки, шорохи и то, как прохожие спотыкаются. Люблю смотреть за танцующими в паре людьми.

Белк, кстати, тоже любит потанцевать.

Представьте себе слона в посудной лавке, а потом прибавьте к нему пару-другую бегемотов. И грузовик. Примерно то на то и выходит. Но белку нравится. Теория несогнутых пальцев, наверное, распространяется и на танцы тоже.

Интересно, какая тут связь?

Пожалуй, надо будет над тем на досуге подумать. Просто без инструмента — подумать и все. Без ручки, карандаша и нотной линейки перед глазами.

Но сейчас я не думаю. Мне и так хорошо.

Раз-скрип, два-скрип. Тоника, доминанта, субдоминанта, тоника.

Мне не нужен инструмент. У меня и так все хорошо получается.

Раз-скрип, два-скрип.

Так незаметно, я дохожу до строймагазина «Баухаус», где недалеко до центральной елки. А потом в супермаркет. Надо купить Белку «Шивес»… как его? И еще активированного угля… Потому что в шесть вечера в Финляндии все закроют. Об этом только и говорят… Я и не думал, что окажусь когда-то в Финляндии.

Дорогу преграждает одинокая женщина. В руке — бидон. На спине — рюкзак. Она ставит бидон на рюкзак и трясет фанерной доской как иконой. Вместо образа на доске — название супермаркета. Она кричит с равными промежутками: «Лидл!» «Лидл!»

— Позвольте, я провожу, — говорю я.

Она продолжает кричать.

— Постой, командир, — слышится грубый голос. — Мне тоже универсам надо. Как называется?

Будто холодной водой обдали.

Не делая попыток выяснить, кто зовет меня командиром, я разворачиваюсь и бегу в противоположную сторону. Отбежав от «Лидла» на безопасное расстояние, кричу по-беличьи:

— Сфыр!

Я вприпрыжку влетаю в широко распахнутую дверь торгового центра.

Изучаю витрины. Слопать что ли чего? Пиццу в «Хесбургере»? Бургер? Карельские пирожки?

Стекла моются каждый час. На стене, в файле висит расписание. И рабочий с ведром уже вовсю раскладывает лестницу. Лестница сгибается под ним, как будто это медведь лезет в кусты малины. Он выжимает тряпку в ведро, и ни одной капли не проливается. Только полоски грязной воды скатывается по стеклу. А потом все полоски неожиданно исчезают.

Тогда рабочий поднимает большой палец вверх.

Готово! Витрина прозрачная.

Швабра летит в мусорное ведро.

Скорее всего, их делают одноразовыми.

Я совсем забыл, что показал большой палец рабочему в ответ. Иду и держу вверх большой палец… А люди поднимают пальцы в ответ. Нравится им.

Так с негнущимся пальцем я нарезал круг по торговому центру.

И швабру ненужную, такую же одноразовую, где-то поднял, прихватил.

Снова гляжу на витрину. А там уже рождественских ангелов продают. Подхожу к продавцам. Они отправляют меня к корзине, на выбор. Закрываю глаза, долго шарю в корзине и, наконец, выуживаю что-то неадекватное.

Ну и ангел! Урод — толстый, неуклюжий с поломанными крыльями. Материал — дуб. Дуб! Точь-в-точь как я. Особенно на фоне изящных пластмассовых ангелов.

Я направляюсь в сторону кассы.

— Бесплатно, — машут рукой продавцы. — Этот ангел — бесплатно.

Я кладу ангела в карман и тут же о нем забываю.

Один продавец улыбается.

Это, наверное, он смастерил дубового ангела, кинул в корзину ко всем остальным, чтобы посмотреть, кому он достанется.

Пряничный домик хочется укусить, но вспоминая о том, что он сделан из поролона, я немедленно покупаю такой же, съедобный. Лопаю его в компании лосей и снеговиков. Может это и не самая потрясающая елка на свете, но мне она нравится.

Мимо ходят туристы. На меня наводят фотоаппарат — такой, что впору из него застрелиться в момент грустных событий. Напротив сидит моя кассирша, ест с кем-то мороженое на двоих. Эх. Но загоревать по-настоящему я не успеваю, потому что с елки кому-то на голову падает картонная звезда и хочется загадать желание.

Загадываю. Либо остаться здесь навсегда, либо скорее уехать к чертовой бабушке. Кто-нибудь, дайте мне знак. Вижу, гляжу, как в рождественской сказке — сюрприз. Мимо бэйный идет с тубой.

— Подожди.

Тот самый бэйный из Горжеткиной школы!

— Эй, бэйный!

Туба у бэйного лежит в синем унылом мешке. Контур тубы определяется сразу. Жалко, что я сегодня без саксофона.

— Как дела, бэйный?

Бэйный вглядывается в меня.

Туба издает грустный звук.

— Я-то? В оркестре, — уныло, как все медники, говорит он. Но голос радостный. — Едем в Хельсинки.

Тогда и я радуюсь за него.

— Стоп. Ты больше не бэйный? С бэйными тубами никуда не берут. Какой же ты теперь? Эсный?

— Эфный!

Картавит? Нет, вспоминаю — эфная туба. С бэйной на солирующую перешел, значит…

Плюнул ему на удачу и отправился за активированным углем для сфырной вечеринки.

Сфырную вечеринку с активированным углем и напитками придумал не я (как будто оправдываюсь). Мне бы и в голову не пришло, что уголь пьют, чтобы не отравиться.

Зато Белк сказал, что никогда нельзя быть уверенным. И налил мне бокал. Почти доверху.

Держу в руке бокал, а сам и не знаю, что сказать. Идея тоста приходит сама собой.

— Сфыр!

И праздник наш с Белком — сфырный.

С первым же выпитым «Шивес Ригалом» накатило странное ощущение. Будто горчицей закусил и собираешься разбавить пожар водой. А вместо воды тебе подсунули уксус.

— Нравится? — спрашивает Белк безразлично.

— Скорее да, — отвечаю я. Тянусь за сигарой. После сигары мне все по плечу. И на саксофоне играть, и знакомиться с финскими девушками (в шубе).

Насчет Шубы Телониус Белк порекомендовал подождать. Ладно. Проглатываю две таблетки активированного угля и тянусь за следующей порцией. На пороге — роскошная, пахнущая хвойным освежителем экологическая елка. Рождество началось.

Часть вторая

1

— Шарик, а Шарик, я еду, — слышится жизнерадостный голос в наушниках, которые я забыл снять. Комната оживает на раз. На голову падает люстра.

— Га?! — спросонья выпучиваю глаза.

Люстра падает — это сон. Но из десяти пропущенных звонков последний номер точно отцовский. И это точно реальность.

Перезвонил — нет зоны доступа. Начинаю генералить квартиру.

Руки как каменные. Пальцы — корявые с заусенцами.

Говорят, в Англии место есть — Стоунхендж. Вот из этого места они своим ходом приперлись.

Ох, и не хочется мне приводить Ботинка с утра в этот бардак.

Посуду отнес на помойку… Нарисовал на стене Ботинка во весь рост. В конце концов, чего беспокоиться — обоев-то нет.

Очень мне нравилась стена без обоев. Я записывал на ней последовательность аккордов. Очень удобно, чик — все и написал. А Белк рисовал стрелочки. С указанием, где спрятаны вкусные вещи. По всей квартире эти беличьи стрелочки. Даже на потолке. Он еще цифры ставил. Одним словом — дурдом. И портрет Ботинка — совершенно на своем месте.

Пока ждал, решил вогнать в контур портрета краску. Истратил полтюбика ржавой охры, которую купил в отделе поделок. Телониус Белк как-то расстроился, увидев себя в зеркале со спины. Не ожидал, что седеет с такого невыгодного ракурса. Вот я и извел на него полтюбика. А второй половиной — почему бы и нет — родного Ботинка в краску вогнал.

И тут звонок — прямо с порога сюрприз. Вместо Ботинка — Мопся. Волосы вьются как датское печенье.

Она улыбается. Я ограничиваюсь «Здравствуйте». И даю ей зачем-то ложку для обуви. А она, может, вообще не собиралась обувь снимать.

«Здравствуйте». Как во сне.

Мопся проходит в комнату. Не разуваясь.

Я тянусь за окурком сигары, прочищаю горло насморочным, неприличным звуком и — нате! — назло затягиваюсь. Втягиваю носом ее аромат. После чего кашляю, не в силах остановиться. Просто сгибаюсь пополам, а не кашляю. Там какой-то ковер внутри меня выбивают!

Одним из самых страшных снов для меня был когда-то такой: мы идем с Ботинком по городу, и я вдруг зачем-то лезу в карман… беру папиросы… закуриваю… Ботинок смотрит на меня с грустью. Я тушуюсь, прячу все в карман, а потом потихоньку выбрасываю в урну. Или мимо урны. В зависимости от того, попал я или нет, зависит мое утреннее настроение…

И вот, наконец, это произошло. Кидаю естественно мимо урны.

— Куришь сигары? — ужасается Мопся.

У меня даже не хватит сил убедить ее в этом.

— Нет, — подбираю и гашу сигару в блюдечко. — Похоже, что все-таки нет.

— А что за бутылки от водки я нашла в углу?

Тэкс. Что-то я не сообразил в суматохе. Бутылок «Шивес Ригала» действительно многовато.

Поневоле задумаешься — белка моя воображаемая. А «Шивес Ригал», который она пьет, — нет. Интересно, куда девается? Как в коня… Мопся удивленно гремит стеклом. Один, два, три, десять. Десять бутылок! И еще одна, наполовину опорожненная, плавает в раковине. Это холодный коктейль.

Мопся негодующе кричит. Она еще даже не видела, что происходит на кухне под подоконником, где обычно обедает Телониус Белк.

А он-то как раз и выходит сейчас из кухни с морошковым кофе в руке. Потягивается и удивленно смотрит на признаки появившейся в доме женщины.

— Кто за собой не спустил!

Так и не уловив смысл происходящего, Белк уходит на кухню. Раздается надсадный, трагический кашель.

Мопся на белку, разумеется, никакого внимания. А вот кашель вводит ее в недоумение. Она даже ушами поводит — откуда такое взялось?

— Бутылки — это же про запас, тетя Марина, — искренне удивляюсь ее, а сам смотрю за реакцией. — Видели сколько стоят? Вот я их и держу на всякий случай . . . как неприкосновенный запас.

Мопся утыкается мне в плечо и шепчет:

— Не люблю таких, как эти, — будто делится сокровенным секретом. — Бутылки вот принимают. Не брезгуют.

Я отворачиваюсь и ничего не отвечаю. Люблю я таких или нет? Вспоминаю утыканную булавками девушку за кассой «Призмы». А еще ту, которая в искусственной шубе ходит.

Я, ей богу, чувствовал бы себя куда увереннее, если бы не рождественская вечеринка. Если вы думаете, что она прошла удачно, и все закончилось на том месте, который я описал, — ну, вы понимаете, — ошибаетесь очень сильно.

— Если понравилось, наливай.

А я говорю:

— Еда понравилась. Наливать? Спасибо, больше не буду.

Но вспоминаю, что у меня переходный возраст. И игры эти уже не такие опасные. И я наливаю в меньший по объему бокал.

Белк говорит:

— В четырнадцать лет папа давал мне чашку цуцика в день и заставлял закусывать кашицей из строченой рыбы.

Рыба у нас, к слову сказать, та еще. Стухшая, а не строченая. Хотя, если в кашу покрошить… Человек, только что навернувший мармеладный салат, к цуцику и к рыбе относится со справедливо брезгливым пренебрежением.

А Белк наворачивает ложками мармелад. Запивает прямо из бутылки.

Спрашивает:

— Так что делать? Квартиру, может, уберем?

Мне так хорошо смотрится на тающие под фонарем сугробы, что я даже не понимаю, в чем соль. Поднимаю глаза и вижу: Белк навострил усы. Он хочет убрать под горячую руку квартиру.

— Ты что — принцесса диснеевская? В праздники убираться…

Белк продолжает хмуро теребить усы.

— Ну, хорошо. Уберем. А зачем?

Отворачиваюсь к своему естественному телевизору — незанавешенному окошку. На улице развлечений нет. Все разошлись по домам и втихаря празднуют.

Белк говорит:

— Затем, что нужно делать все наоборот, понимаешь? Тебе говорят одно, ты отвечаешь другое, а делаешь между тем, что? Третье.

— Всю жизнь так, — хвастаюсь я, хотя на небольшое время задумываюсь.

— Они верят в правое полушарие, а ты в левое, — не унимается Телониус Белк. — И он тебя в левую щеку, а ты пальцы не сгибай. Или блинный торт хочешь съесть. А не надо. Все в жизни не так. Потому что жизнь — это не блинный торт. Обмани ее раз, обмани два и здравого смысла не будет.

Я только вздохнул.

— Здравого смысла не будет?

— Не будет. Будет не жизнь, а одни пердосраксы.

Белк выуживает откуда-то ту самую шляпу, которую ему купили в первый день.

— Вот надену, — говорит он. — Прямо сейчас. Из любви к пердосраксам.

Голова Белка утопает в широкополой шляпе. Голова маленькая, как у коротко стриженых толстяков. А дамские шляпы рассчитаны на точное соблюдение пропорций. Иначе поля спадают, и выглядит Белк как цветочек. По-другому и не назвать. Короче, Белк в шляпе выглядит бессовестно трогательно.

Из-под шляпы слышится:

— По праздникам я не отдыхал. Только работал.

Пускай… Главное не смеяться.

Но убирать квартиру все равно не хочется. Я ложусь на спину. Чувствую себя так, будто на лопасти вертолета лежу.

— Укушу, — грозит Белк. — Хочешь так, хочешь этак.

Ему скучно.

— Хочу этак. А как это?

— А это вот так. Чем хочу, тем и укушу.

Потолок плавится, когда на него смотришь.

— Кусай хоть хвостом.

Белк лениво кусает меня хвостом, а я даже не понимаю, в чем фокус…

Оглядываю хозяйским взором квартиру. Смотрю на часы. Все равно не хочу убирать. Где это видано — мыть окна без десяти одиннадцать?

— Тогда я лягу на диван и буду лежать до следующего Рождества, — заявляет Телониус Белк. — Через шесть лет. В одиннадцать часов меня разбудишь. Но только через шесть лет. Тебе тогда будет…

— Не надо, — перебиваю я. Иду в коридор и возвращаюсь со шваброй от экологической елки. — На. Убирайся.

Белк с присвистом вскочил и неуклюже пронесся со шваброй.

Только что он был в одном, а теперь уже скачет в другом месте. Больше, конечно, раскидал, чем убрался.

Я беру половую тряпку и вешаю через плечо. А потом открываю крышку пианино и кричу: «Сфыр», — так громко, чтобы зазвенели пружины. До Рождества осталось ровно пятнадцать минут, если часы с троллями не соврали.

Мопся садится на корточки и выскребает из углов грязь.

Я морщусь. Мне не нравится, как она это делает. Не так, как диснеевская принцесса.

Через стенку увесисто кашляет Белк.

Мопся подпрыгивает на табуретке и заедает таблетку криком:

— Крысы!

Входную дверь открывают ключом.

— Ну какие крысы, — орет Ботинок, снимая шляпу. — Скажите на милость, какие могут быть крысы в конце декабря!

Телониус Белк заинтересованно берет шляпу.

Ботинок, помолодевший и стриженый наголо. Непривычно смотреть на него. Он похудел. Не сильно, но видно, что спортом человек некоторое время позанимался.

Он протягивает мне дряхлый, дырявый, обкусанный собаками чемодан. И насладившись эффектом, добавляет:

— Всем оркестром выбирали.

На вид этот саксофон — лучший друг предыдущего.

Я придирчиво осматриваю его со всех сторон. Да он не для классики. Вижу оркестровую пипочку. Уже хорошо. Осматриваю далее. Тоже неплохо. Возможно, Телониус Белк расскажет об этом побольше.

Интересно, из какой задницы достали этот чемодан и что мне делать с протершейся от времени пальмой. «Пальма», — бормочу я под нос. Ботинок смотрит задумчиво. Пальма — это верхняя боковая секция правой руки. Ре третей октавы и выше. Раньше я и слов таких не знал. От кого понабрался?

Покупку нового саксофона он воспринимает как блажь. Думает, купил мне уверенность.

Когда до Рождества остается всего лишь каких-нибудь пять минут в окно прилетает камень.

И Телониус Белк мчится смотреть, что случилось, теряя на ходу швабру.

— Сфыр! — с отвращением откладываю саксофон в сторону.

Белк ловко гасит безудержное движение клавиш собственным хвостом, а потом еще и проезжается по фортепьяно задницей.

— Знаешь что, Белк? Мы все-таки будем убираться в комнате.

— Будем? — спрашивает Белк. — Нет, я уже не хочу…

— Позовем на помощь зверей…

«На зов диснеевских принцесс приходят лесные мыши. Лось может и не придет», — проносится у меня в голове мысль, которую я отношу к шальной и списываю на «Шивес Регал». А вот мыши, должно быть, появятся. Это уже трезвая мысль. Не совсем, но по крайней мере, мне так показалось.

Мыши какают в древесный наполнитель, который я купил на тот случай, если окажется, что сфыр мой не воображаемый, а настоящий.

Я повязываю вокруг пояса половую тряпку. Выжимаю бруснику, так чтобы на лице появился макияж. Это диснеевский румянец, как у Белоснежки. Белк взбивает шерсть на голове. Теперь на наш зов обязательно должны откликнуться все окрестные звери. А когда придет принц, то поцелует нас туда, куда мы ему скажем, а не туда, куда ему хочется. Штиле нахт! Хайлиге нахт! Петь надо что-то другое. Как там было? Гномы идут?

Мы поем что-то до тех пор, пока пение не прерывается дребезгом.

Я понимаю, что надо открыть окно.

В него уже не то что стучат — колошматят.

Интересно чем можно колошматить в окно на втором этаже?

Оказывается снежками.

Чтобы понять, что представляет собой новый саксофон, я заперся в кухне.

Я протер его смоченной в уксусе салфеткой. Расставил пальцы по клапанам. Вместо привычных клавиш печатной машинки под пальцами почувствовались какие-то ласты. Старт мне не взять.

Допустим, вы бегун на короткие дистанции. По случаю мороза вам не выдали бутсы. Вам приносят галоши и валенки. И вот надо взять старт.

Есть какая-то специальная поза, при помощи которой фокусники заставляют замереть усомнившегося в колдовстве. В этой позе я и уселся.

А Белк поедает последний кусок замороженного блинного пирога. Поливает его острой приправой из мексиканского отдела. Глядит сквозь, и вроде бы не совсем узнает. Чувствую, торопится куда-то.

Так делала мама. Она работала в больнице. Ей постоянно нужно было куда-то бежать. Скорая дежурила у парадного. Но сказать, что уходит, она не могла. Смотрела на часы и боялась, что я расстроюсь. Она специально делала вид, что на работу не надо.

Белк продолжает смотреть сквозь и выплевывает под ноги застрявший кусок блинного торта. Тогда я беру дыхание уголками рта. Я выдыхаю, стараясь не напрягать верхнюю челюсть. «Штиле нахт! Хайлиге…» Неожиданно из-под моих губ раздается звук. Я дергаюсь как обезьянка. Саксофон и вправду хорош. Я почувствовал пальцами. Но вот мундштук — старая дрянь. Он затыкается на втором «нахте».

Я снимаю комплектный мундштук. Показываю его Телониусу Белку. Все из-за него, мол. Какие последуют консультации?

Телониус Белк отворачивается, сморщивается, а потом растворяется в зеркале. Его нет. Теперь это мне даже кажется смешным — рыжая финская белка. Размером с подростковый мопед. Да еще и по-русски говорит без акцента.

Я провел в Тууликаллио месяцев шесть. Съел десять забитых доверху тележек из окрестного супермаркета. В голове все время струился какой-то туман — вначале осенний, тоскливый, а потом зимний, переходящий в отвратительное утреннее настроение.

Все это время я играл на пианино и, за каким-то чертом, не сгибал пальцы. Пианино нужно для того, чтобы из букв собирались слова, а из нот — песня. Это редкое нарушение психики — отсутствие навыка следить за обычной гармонией. Некоторые так и не могут научиться читать — буквы видят, а предложения нет. С этим все ясно. Но, зачем, спрашивается, пальцы-то я не сгибал?

Спокойно! Начнем все сначала.

Начнем с того, что здесь сидел Телониус Белк. Он был похож на мою мать. И так же, как моя мама, ушел не прощаясь.

Телониус Белк — это моя ручная финская белка.

Белка? Ручная? Бывает ли такое вообще?

На столе записка. «Пожалуйста, не трогайте запасы морошкового кофе!»

Я аккуратно складываю бумажку пополам и иду заваривать обычный, коричневый чай.

Снежок расплющивается о стекло. Я жалею, что так и не сделал себе мало-мальски пристойные занавески.

Где вы лесные мышки?

Я распахиваю окно настежь. Там швыряет снежки и дразнится всяческий люд. Впереди всех — Шуба. Шуба распахнута. Под шубой — платье в мелкий горох. Видны мелкие небрежные татуировки.

На заднем плане старухи играют в финский бейсбол. Он гораздо живее бейсбола американского.

Снежок плюхается мне в лоб. Когда я наклоняюсь, чтобы выбить его обратно, тут же попадает другой. Прямо за шиворот.

Старухи хохочут.

Я забываю, что на мне все еще костюм принцессы.

2

За чаем я все вертел и вертел в руках записку про морошковый кофе.

— Ну вот, — подытоживает Ботинок. — Инструмент может и барахло. Но он отрегулирован. И звучит. А старый — не отрегулирован. Не звучит. Пройденный для тебя этап, в общем.

Киваю.

Все правильно. Марабу должен остаться в прошлом.

(Записка про морошковый кофе. Он существует!)

— Осталось купить мундштук. — добавляет Ботинок. — Можем купить его в Хельсинки. Только придется тебе выбирать самому. Тут я, как свинья в апельсинах. Сам все посмотришь и выберешь.

Я представляю себе миллионы саксофонных мундштуков. Полки черной эбонитовой армии. Без погон и без прочих знаков отличия. Проваливаюсь в черную, эбонитовую пустоту.

Нужно найти среди них самого главного — генерала…

— Не мочи ложку. Она для сахара, — мимоходом бросает Мопся.

Привести в чувство меня может только ровный, ничем не нарушаемый ритм.

Обычно я обращаю внимание на часы, на то, как ровно они в таких случаях тикают. В кармане метроном. В такие моменты я сам начинаю тикать и такать.

Ботинок отбирает ложку с прилипшим сахаром, кидает в раковину и продолжает со мной разговор.

Вместо часов он делит слоги на «раз-два-три-четыре». На секретном языке говорит. С акцентом из-за неправильных ударений.

Это наш тайный язык. Иногда даже мама понимала, что нам надо поговорить на своем языке, и тактично уходила в сторону. А Мопся до сих пор все вслушивается. Но никак не может ничего разобрать.

— Зав Тра Мы По Е Дем Эв Хель…

Я прикидываю в голове темп с которым говорит Ботинок. Надо и прикидывать темп и слушать одновременно — только так можно что-то понять. «Лучший в истории пианист», — цепляю последнее.

— Лучший в истории? — с сомнением тяну я. — В Хельсинки выступает?

— Да нет, — раздраженно переходит на обычный язык Ботинок. — В Эстонии. Ты чем слушаешь? Соберись.

Когда стану знаменитым, я спрошу у каждого, по какому праву они считают меня таким? Буду звонить в дверь и спрашивать. До тех пор, пока сомнений не останется, что действительно лучший.

В России такую штуку проделать не получится никогда. И даже в Эстонии. Уж слишком она большая.

А вот в Тууликаллио — запросто.

Собирая Ботинка на вечернюю прогулку, я тщательно следил, чтобы запасы морошкового кофе были в порядке. Запасы похожи на мелкий мусор, а Ботинок такое выбрасывает. Мопся потянулась было выбросить первой, но я остановил ее, объяснив, что мусор здесь принято сортировать. И морошковый кофе пока еще не нашел своего применения. Ни в пищевых отходах, ни в биологических.

Впрочем, бутылки действительно не мешало бы выкинуть. Такие здесь не сдаются. Принимают только пивные и лимонадные. Банки-жестянки. А король всех бутылок — пластиковая тара. За нее дают втридорога.

Разумеется, Мопся не желает об том слушать.

— А шляпа? — спохватывается Ботинок, ощупав со всех сторон лысину.

— Крысы, — неопределенным тоном тяну я.

И Мопся охает: «Если бы ты знал, сколько крыс!»

Ботинок сокрушается об утерянной шляпе. Куда он мог ее деть! Пришел-то он сюда в шляпе. Я сам видел, как он снимал ее и расправлял перед тем, как повесить на крюк рядом с зеркалом.

Ботинок — пижон, и примером ему служат итальянские фильмы, где носят шляпу. А в уголке рта обязательно должна подрагивать недокуренная папироса. Недокуренная, понимаете?

Ботинок бросил курить, но коробочка с недокуренной папиросой всегда при нем. Как авторучка в нагрудном кармане.

Он даже не защищал свое право курить. Когда раздавалось: «Здесь курить нельзя», он отвечал: «Я и не курю. Видите ли…»

Мопся заворачивает Ботинкову голову в шарф и хмурится.

Ковбойский вид ей не по нраву. В конце концов, она вытаскивает из-за гардеробной стойки шляпный кошмар, который Белк купил в первый день. И остается в недоумении.

А я говорю: «Это вам, тетя Марина».

Я присаживаюсь на крутящийся стульчик для фортепиано. Аккуратно прикасаюсь к новому саксофону. Шлеп-шлеп. Открываю и закрываю слегка прилипший к серебристому стаканчику клапан…

Новый — это преувеличение.

Но, по крайней мере, с него не приходится стряхивать пыль и выскабливать палочкой для ушей остатки черной, вонючей смазки.

Попробовал перебирать клапаны. Неудобно, неловко.

И висит низковато. Ничуть не проще чем прямыми пальцами на пианино играть.

Он скользкий. Он в талии поуже предыдущего. Костлявый, как позвоночный столб.

Пробую и так и этак. Играю прямыми пальцами. Саксофон —бутылка, из которой не льется. Зачем мне такой инструмент? Сдерживать мастерство, которого во мне сроду не ночевало? Выдыхаю оставшийся неиспользованным воздух. Выдавив его до конца, пытаюсь восстановить ровность дыхания. Это должно меня успокоить. В теории, а на практике — черта лысого. Я все еще нервно дергаю кадыком. Я — бультерьер, в которого кто-то попал из рогатки.

Глядя на старый саксофон, валяющийся без футляра, я вспоминаю Марабу, который блеющим голосом скрипит мне на ухо: «Оркестрооовый! Оркестрооовый!» Возможно, придется когда-нибудь отдавать и этот инструмент. Играть я не научусь — это точно.

«Оркестровый, оркестровый!»

Открывая старый кофр-гроб с красной подкладкой, я опять сижу у Марабу, и никакой свежий воздух с финских озер не мог эту ситуацию изменить. Надо похоронить его вместе с воспоминаниями.

Задача номер один — хорошенько уработать старый саксофон в землю. В кофре с красной подкладкой.

Этим я займусь по приезду из Хельсинки.

Думая о Марабу, как об отработанном материале, я постепенно успокаиваюсь.

Вернувшиеся Ботинок и Мопся застают меня немного отъехавшим.

Сижу на диване с ногами и уставившись в потолок. Щелкаю клапанами нового Олдс Амбассадора. С каждым щелчком сцеживаю сквозь губы воздух. Ма-ра-бу, мА-ра-бу.

Ботинок встревожен.

— Пустяки, — говорит Мопся и щупает мне лоб.

Ботинок наливает полстакана водки «Корсенкорва».

Мопся смотрит на старый саксофон. Вынимает шкатулку с булавками и методом тыка подбирает иголку. Затем она берет маленькие филировочные плоскогубцы и сплющивает иголки у основания так, чтобы не выпадали из дырочки.

Где белка?

Где моя белка?

Добегаю аж до самого водопада. Круунупуйсто — по-шведски называется этот парк — «коронный», торжественный, ухоженный — не похожий на окрестности.

Вижу первого белка! На дереве! И еще…

Наконец, вижу пересеченную световой полосой эстраду.

На эстраде новый блестящий рояль. За роялем сидит высокомерный пушистый толстяк. Не знаю, много ли белок в Финляндии выглядят расфуфыренными, как на свадьбу. Но это мой Белк. И вокруг него — несколько десятков восторженных почитателей.

— Ну что, что? — раздраженно спрашивает Белк. Он ерзает за роялем на крутящемся стульчике. Мохнатая шапочка-поркпай. Утиное перышко через цепочку. Он только что собирался навалять всем умением играть прямыми пальцами и уже, было, занес негнущиеся лапушки над клавишами, как вдруг…

Неуклюже влезаю на эстраду.

— Они на меня смотрят, — жалуюсь я, имея в виду родителей. — Они пришли, пьют чай и смотрят.

— Когда на тебя не смотрят — ты не играй, — советует Белк.

— Я и так не играю.

Белк пожимает плечами.

Похоже, окружающий его мир, он воспринимает через «играть — не играть».

— Corpus non raddit, — говорю я и вынимаю из кармана калитку со шпинатом. Прямо из супермаркета. Свежую, хотя я ее еще утром купил, а провалялась она в кармане часов двенадцать. Протягиваю засуетившемуся Белку. Белк с удовольствием и благодарностью кушает.

Гул толпы нарастает.

Пусть подождут. Пуговичный нос белка дрожит. Он щекочет мне пальцы усами.

Теперь он снова Телониус Белк.

«Наверняка, не имею права, — думаю, отряхивая с рук крошки. — Любой артист в Финляндии — общественный деятель. И отвлекать этого деятеля калитками со шпинатом нехорошо. Прямо скажем, несолидно. И уж если приманивать, то чем-нибудь посерьезнее. Но на что же обычно ловят такую важную белку?»

Вдруг — и я понимаю, что это действительно вдруг! — на эстраду въезжает Марабу на машине с российскими номерами. Причем не въезжает даже, а пересекает зигзагом. Белк еле успевает отскочить. Ощерился, задрожал и превратился в обычную белку, если не считать того, что размеры остались прежними. Как я уже говорил, ростом Белк приблизительно со скутер, пусть и поставленный на заднее колесо.

Шапочка с утиным пером уносится вместе с машиной.

Я ругаюсь. Угрожаю удаляющемуся автомобилю кулаком.

Все расходятся. Люди вовсе не слушать пришли, а смотреть, как Белка переезжает машина. И если бы не моя булка со шпинатом — уехал бы сейчас он на колесе.

Я пинаю людям вслед куски грязи и мелкие камушки. Злюсь.

Сажусь, глажу испуганного Белка. Думаю про себя: «Приснится же такое».

Очухиваюсь — действительно сплю.

3

— Доброе утро, фру Мопсен, — смеется Ботинок.

Мопся балансирует, пытаясь не уронить стопку выглаженной одежды. Утюг в этом доме дрянной. Но она как-то справилась. Распространяет вокруг себя запах пара. А еще пресного, только что выглаженного белья.

Меня, сидящего на крутящимся стульчике, поджавшего под себя ноги и облокотившегося локтем о музыкальный инструмент, никто не замечает.

Не замечает Ботинок и того, что я не почистил зубы. Не замечает, что у меня в волосах куски булки и шпинат.

Ботинок готовит яичницу.

Я уже в третий раз вижу, как отец счищает пригоревшие яйца в мусорный пакет.

А он меня не замечает!

Глубокомысленно кхекаю.

Может, я стал как Телониус Белк?

В качестве проверки этой теории я кхекаю погромче.

Мопся вздрагивает.

Мы так и не завтракаем. Яичница не получилась.

На Мопсе броское платье цвета салата оливье — бледно-зелено-морковное. А на голове волосы винегретового оттенка.

Мопся сердито шипит и присаживается перед зеркалом. Начинает щупать винегретовые волосы. Я слежу, мне интересно, что будет дальше. Мама всегда щупала шевелюру перед зеркалом после ванны, чтобы понять, сколько времени их придется сушить. Но Мопся вовсе не собирается сушить свои волосы. Она накручивает мелкие, слегка подогретые специальным паяльником бигуди прямо на мокрое.

Ботинок прикасается к ее голове свободной рукой.

Она смотрит брезгливо, будто в помойке порылась. И нашла меня там. А заодно и Ботинка.

— Вы что, мной брезгуете что ли?

— Замолчи, — просит Ботинок.

— Да брось, — снимает скандал Мопся. — Просто сержусь.

Бигуди бьются о Мопсины мокрые волосы. Ботинок поправляет на столе очки и уходит. Я остаюсь с Мопсей один на один и успокаиваюсь испытанным методом — навожу на нее фигу в кармане.

Сразу две фиги, может? Я опускаю руку в левый карман. В кармане нащупывается что-то рельефное. А!

— Смотрите, что у меня!

Мопся надевает дымчатые очки и смотрит на мою переносицу.

Я вынимаю своего ангела и сую ей в руку. Мопся раскрывает ладонь, еще улыбаясь, но потом скептически качает головой.

— Ну как?

— Кошмар, — она морщится. — Лучше другого купим. Я видела перед Рождеством в Оулу — фарфоровые. Красивые. Подбором стоят.

Звонит телефон и Мопся принимается разговаривать с какой-то Оулей. Я подбираю ангела и кладу в карман с самым невозмутимым видом. Потряхиваю уставшими сворачиваться в фигу пальцами.

Даже ругаться не хочется.

Через несколько лет этот ангел пойдет кочевать по карманам. Он заявит о себе несколько раз. Например, у врача на кушетке он выпадет из кармана, а я застесняюсь и уйду, так и не подняв разговор о «кранкенкассе».

Потом меня попросят не показывать ангела детям («он такой урод, Клара его забоится»). Наконец, на него наступит Яннике. Голой ногой. Пострадает, конечно, больше, чем ангел. Такому дубовому все нипочем.

А однажды он потеряется. Вместе с пластмассовым чемоданом грязного белья, уехавшим в багажный отсек по черной ленте. «Я не очень люблю христианские цацки», — прошептал я таможеннице, извиняясь за небольшой инцидент с завалившимся за подкладку ангелом, — «и, вдобавок, с детства ненавижу творожную пасху». — «Но зато эти игрушечные ангелы чудо как хороши», — вздохнула таможенница-мусульманка, помогая запихнуть обратно развалившийся чемодан и отправить его по багажной ленте.

Записка номер два неожиданно появляется в моих руках. Я едва успеваю пристегнуться ремнем безопасности. Это та же записка, что и вчера. Просто поменяла свой цвет, запах и смысл. Пахнет шишками и осенним жухло-пожухлым листом. А за окном машины снег валит хлопьями, будто из ковша экскаватора сыпется грунт белого цвета.

«Бири большый розмер. Никаго ни слушай. С большым — будет глубже. И харошо». Вот что написал на этот раз Телониус Белк.

Вместо подписи — рисунок, накаляканный пачкающим бумагу карандашом. Как будто бы Белк на картинке. Но одновременно — и я тоже.

Узнаю, между прочим, фломастер. У него редкий цвет, полосатый, как зубная паста. Я долго таскал его в кармане, пока от безделья не застирал и не вывесил за окно вместе с джинсами.

Частично обледеневшие джинсы были обнаружены проветривающей комнату Мопсей. Вряд ли он ей для чего-то понадобился этот фломастер.

На картинке — неуклюже нарисованный Белк во рту его дымится сигара. Белк, понимаете? Но причем здесь сигара? После рождественской ночи о сигарах не хочется и вспоминать.

Вдруг до меня доходит, что это не сигара вовсе.

Это скошенный, насквозь дырявый, саксофонный мундштук.

Он плавится от напряжения и дымит. На таком без пяти минут дырявом мундштуке тяжелее играть. И я об этом откуда-то знаю.

Рисует Белк, будто играет на пианино. Несогнутыми пальцами.

А я вначале подумал, может, Белку захотелось огромных сигар.

Это было бы мило.

Некоторые думают, мундштук в саксофоне — то же что и подкова у лошади. Но к саксофону привыкаешь меньше чем к мундштуку. Соответственно, хороший мундштук — это тебе не подкова.

Странно, но вышло так, что мундштук, купленный в Хельсинки по рекомендациям воображаемой белки, был лучше других. Но ведь со мной так всегда и бывает — один предмет со мной живет долгую жизнь и пока живет, он для меня самый лучший. Я не люблю менять полюбившийся привычные вещи. И жаль, что я сломал этот мундштук, малость не рассчитав. Все потому, что решил закрыть его не снимая трости. Трость залипла на мундштуке после исполнения «Щедрика» на морозе перед Альтштадтхоф, в Нюрнберге. А потом, уже по пути я решил срубить десятку перед вокзалом. Глядь, а мундштук-то на две половинки расколот и невозможно играть.

Странная у него защита была — не колпачок, а вроде закрывашки от пива «Гролш» или «Кавллерист». На свете много такого странного, что когда показываешь, все вокруг чешут голову, приговаривая — «Ну надо же, бывает». Колпачок с жестяной крышкой — такой же загадочный. Не как Мопся, а как мой дубовый ангел — непонятно откуда взялся, что с ним делать и зачем он пропал.

А после того, как пропал ангел, у меня появилась сова. Тоже, надо сказать, весьма сомнительного вида.

— У меня за спиной сова, — иногда озадаченно обращаюсь к кому-то я, — Помогите, пожалуйста.

— Что, — переспрашивает валторнист или, в зависимости от подвернувшейся халтуры, барабанщик.

Я показываю на спину.

Это застежка в виде бирюзовой совы.

Я купил ее в сувенирном киоске. Сейчас уже не вспомню где. Когда лишние деньги водились. А вот где? Вспомнить бы город, где бирюзовый цвет считается приманкой для туристов? Вот там и надо искать такую сову.

А сейчас мне надо ее расстегнуть.

И тогда я смогу вылезти из перекинутой через плечо шлейки от саксофона.

Ботинок, наконец, заканчивает трепаться по телефону. Он садится за руль. Пытается пристегнуться, но потом вдруг бросает это занятие. Он не может попасть пряжкой в паз. Он не пристегивается. Хихикая, пряжкой в паз тыкает Мопся. У нее тоже ничего не выходит. Но вряд ли она сильно старалась. Скорее всего, просто так тыкала — похихикать.

Я же, напротив, опоясываюсь как колбаса. Сижу на заднем сиденье и верчу в руках Белковую записку. Зачем она превратилась в напоминание о мундштуке? Мотивация предыдущей записки была гораздо более трогательной. Как я могу забыть про морошковый кофе?

— Можно сегодня ехать быстрее? — спрашивает Мопся — Не так, как в тот раз. А то магазины закроются.

— Еще только восемь утра, — Ботинок встряхивает правой рукой, обнажая часы. — Они и открыться-то не успеют.

Мопся не слушает.

— Зачем тогда авто, когда на нем только сто двадцать? — делает вывод она.

— Сто двадцать, — подтверждает Ботинок. — А в городе — шестьдесят.

Мопся презрительно улыбается.

— Сколько ехать до Хельсинки? — интересуюсь. Рассчитываю немного поспать.

Ботинок делает неопределенный жест рукой. Долго. Спи давай, дядя Шарик.

Голова моя согласно кивает, откидывается назад и проваливается в сон без посторонней помощи. Кажется, я даже успел захрапеть.

— Артем, не вздумай спать пристегнутым, — будит меня строгий голос с переднего сидения. Мопсе скучно. — Затечет все. Немедлено отстегивайся. Ложись спать до Хельсинки.

Протираю запотевшее стекло. Выглядываю и неожиданно вижу перед собой двор. А еще уставившуюся в промытый от изморози кружок на стекле Шубу. «Ведь и не выехали», — разочарованно думаю я…

— Вперед, — бормочу я. — Скорее. Поехали же, наконец…

Ботинок наконец дает газу. Мы выкатываемся с парковки, едва успевая объехать решившую подышать свежим воздухом старуху в кудряшках. Кудряшка почти влюбленно поглядывает на Ботинка.

Каждая машина по встречке везет велосипед. Иногда даже два, а то и три велосипеда, привязанных сверху стоя. Если у них столько велосипедистов зимой, то что происходит летом и осенью?

Даю себе слово, что обязательно куплю велосипед. Интересно, придет ли в ярость Ботинок от этой покупки?

Я знаю, отец чувствует себя виноватым и намеревается при помощи денег загладить свою вину.

На заправке я накладываю в пакет килограммов пять мармелада. Добавляю к тому совершенно ненужный в поездке мед. Пару журналов сверху кидаю — специально держу их так, чтобы выглядело непонятно, порнография это или комиксы.

Ботинок даже не спрашивает. Просто платит, и все. А я нахмуриваю брови. Меня будто не существует. Обидно.

— Это для того чтобы провода из-за ветра не переплелись между собой, — объясняет Ботинок Мопсе. Действительно, отчего в воздухе болтаются проткнутые проводами разноцветные мячики? — Переплетутся — и до свидания…

Мопся пожимает плечами.

— Выглядит глупо. Как будто и вправду мячики. И торчат. Зачем мячики-то? — ворчит она. — Нельзя выплести провода заново?

— Нельзя, — объясняет Ботинок. — Не подлезть к проводам иначе. Как ты в рюмку залезешь без ершика, когда, к примеру, посуду надо помыть. Неудобно!

— Ты может и не подлезешь, — Мопся раздражена. — А я куда хочешь подлезу. Я ведь женщина.

Она демонстрирует свои тонкие пальцы так, что сомнений не остается — подлезть ими можно куда угодно.

— Красивые ногти, — одобряет Ботинок.

Ботинок хочет подбодрить Мопсю.

Мопся морщится.

Одета она хорошо. Я даже сомневаюсь в том, что это и есть та самая петербуржская Мопся.

Сейчас она смахивает на Майлза Дэвиса — и холодный завив волос неестественного цвета, и глянцево-сатиновая блузка, стоящая как нестиранные носки, подчеркивая тем самым опавшие сиси и выражение некоторой благородной брезгливости на лице.

Мопс Дэвис.

Привет из восемьдесят пятого года. Обожаю альбом You’re Under Arrest. Он раньше всегда играл у Ботинка в машине.

— Рыба, — трясет Ботинка за плечо Мопся.

Ботинок чертыхается:

— Нет, моя дорогая. На обратном пути.

Тогда Мопся просится в туалет. А когда Ботинок выруливает на заправке, она с многозначительным видом пересаживается ко мне на сидение. Потом машет рукой, чтобы Ботинок отправлялся дальше. Пожав плечами, отец выжимает сцепление. Он даже насвистывает.

А Мопся вынимает из сумочки карты и начинает раскладывать их на атласе автодорог. Гадает. Что-то не складывается.

Выражение ее глаз меняется как картинки с в игровом автомате — ягодка, семерка, звоночек… Все комбинации взглядов. Начинаю в отместку сверлить взглядом голову отца. Уже шесть комаров на его голове насчитал. В декабре-то месяце! За окном мелькают дорожные знаки и запорошенные валуны с редкими деревцами. Я принимаюсь считать красные машины, потом валуны… Все что угодно, лишь бы не оборачиваться.

— Что это у тебя?

— Мармелад.

— Делись, — требует Мопся по-свойски.

Крыса? Нет. Обсыпанный сахаром сальмиак.

— Что за дрянь, — вздрагивает она. — Никогда не ешь эту гадость!

Я медленно прожевываю сальмиаковую черепушку.

— Выкини!.. У меня условный рефлекс. Однажды попробовала. Кошачья моча!

Ну да — кошачья моча. Почему бы и не кошачья моча, в конце-то концов. Если подвернется один такой сальмиак в компании сладкого мармелада — это же замечательно. Нельзя в жизни жрать только сладкое.

— Никогда не ешь эту гадость. Петушки, помните, петушки? Цыгане продавали у зоопарка! — Мопся сплевывает прямо под ноги. — Борис, ты запретишь ему или нет?

Вместо того, чтобы запретить, Ботинок протягивает руку за сальмиаком. Я насыпаю ему в ладонь от души. Не моргнув глазом, он отправляет содержимое ладони в рот. И Мопся уже готова его сожрать. Не сальмиак.

— Включи транзистор.

«Линда Линда. Мелинда».

— А нет «Нашего Радио»?

И — неожиданная тряска.

У Ботинка перестает работать навигатор. Он резко, с ожесточением тормозит. Потом снова дает газ в надежде на то, что навигатор заработает, но, похоже, этим прибором хоть гвозди забивай — не поможет.

Тогда он обесточивает все заново. Считает до тысячи вслух и пытается стартануть без навигатора.

Мопс шипит:

— Стой Борис. Все равно магазин с рыбой проехал.

Она потягивается:

— Хочу в туалет. На заправку.

— Просто до кустиков прогуляемся, Мопсик, — примирительно говорит Ботинок.

— А рыбу купить?

— Потом.

Ноги после машины ватные. Я делаю неуверенный шаг и тут же облокачиваюсь на капот. Ботинок пытается закурить на ветру. Мопся в психаре забирается на гранитный валун. Интересно, каково это ходить по сугробам на каблуке?

— Шостакович, — кричит она, пытаясь переорать ветер. — Сибелиус! «Мусин муж!» Что я вообще с вами делаю?

Ботинок курит.

А Мопся плачет так, что грузовик принимается надрывно сигналить.

Ботинок аккуратно тушит сигарету и идет к ней. Слышно, как они шипят и ругаются. Шепотом. У отца еще можно различить набор гласных, бухающих как большой барабан. А у Мопси — только шипящие. Ветер несет их в мою сторону, а буханье Ботинка пропадает где-то среди валунов. В общем, если прислушиваться, то слышно одну Мопсину песню:

— Оставь его здесь…

Я не ослышался?

— Оставь здесь. Хватит ждать… Сколько можно…

Дурацкий фокус — когда ты слышишь что-то через воющий ветер и, услышав не до конца, делаешь выводы. Скорее всего, она говорит не про меня, а про севший навигатор. Или про что-то другое. Но только не про меня.

Сфыр!

Ветер свистит, но довольно тепло. Только за шиворот немного снега попало. И теперь там, внутри меня, холодно.

— Пойдем, дядя Шарик, — слышится голос отца. — Пойдем, старик.

Мундштук нужен с максимально открытой пастью.

Ботинок напоминает, что в магазинах короткий день.

Мопся болтает с кем-то по телефону.

— Нет, темная комната для него темный лес. И стигматизация тоже. Большой риск и… одним словом… не нужно этого делать. Шумная комната?

Машина заводится. Я засыпаю как маленький — с указательным пальцем во рту. Во сне Телониус Белк спасает Тууликаллио и тамошних росомах, от дождевых паводков или разлившегося водопада. Не сон, а сплошная вода. Зима в Тууликаллио успела мне надоесть. Скорее бы, что ли, какой-нибудь дождик.

Машин за окном все больше. Автобусы из желтых становятся синими. Дорога разделяется на четыре потока. За тротуаром море, там оттаивает огромный коричневый паром. Именно что оттаивает. Будто какашка.

— Боже мой… Один сплошной сальмиак…

Мопсе не успокоиться. Она выела весь мармелад и слопала шоколадки. Она выскребает длинными пальцами сахар, которым были посыпаны сладости. Облизывает.

Протягиваю руку и с легким усилием забираю у Мопси сальмиак. Сворачиваю пакет в конверт и запихиваю в задний карман. Научиться бы есть без рвотных позывов.

Мопся вздыбливает прическу и надевает другие очки — более осиные, чем раньше. Улыбается в телефон. Она ищет «Зингер», «Стокманн» и «Тарйостало». А нам нужно место с куда более внятным названием — «Dear Old Stockholm». Пускай Ботинок шутит, что этот «Стокгольм» действительно дорогой, но от перспективы дорогого «Стокгольма» веселее, чем от Мопсиного «Зингера».

В тот магазин я больше не заходил. Только однажды пробегая мимо, дернул дверь, просто, чтобы проверить. Но едва прозвучал ми-бемоль колокольчика, я извинился и вышел. Продавец был тот самый. Он продал мне хороший мундштук. По рекомендации воображаемой белки. Возможно, и он бы меня узнал, но я не смог преодолеть звук грустного колокольчика. Все равно, что заново услышать «Темыч» в уппсальском концерте Эрика Долфи. И пережить все заново, начиная с визита огромной, как подростковый мопед, северной белки.

Магазины в Финляндии стоят по сто лет и вместо товаров предлагают воспоминания. Часто продавец вкладывает воспоминания в пакет вместе с тростями для мундштука. Иногда выставляет их на улице в больших коробках в виде рекламы. Можно придти через несколько лет и вздрогнуть от звука знакомого колокольчика. А потом взглянуть на плакат Майлза Дэвиса и засмеяться.

Звенит колокольчик. От грустного звука я вдавливаю голову и прищуриваюсь, точно очкастый. И сразу же вижу постер Майлза Дэвиса в полный рост. И едва сдерживаюсь от смеха; уж больно Мопся на Майлза Дэвиса похожа. Как две капли воды. Вплоть до замятой по краям кожаной шляпы.

Но взгляд Ботинка скользит мимо. Он выстукивает барабанную дробь на паспорте в нагрудном кармане. Получается громко. Продавец оборачивается. Он отставляет кофе в бело-синем, как местный автобус, стаканчике и вынимает маленький кассовый аппарат. Ботинок переносит взгляд с плаката на продавца и продолжает выбивать дробный пульс из кармана.

— И какой же мундштук будем пробовать?

Я сощуриваюсь и пытаюсь прочитать, что написано на бумажке. Вместо рекомендаций по выбору мундштука теперь знак — больше, меньше или равно. Белк говорил, что выбирать надо большее.

Мундштук с максимально открытой пастью. Мундштук, сквозь который видно звезды.

Продавец кивает. Для альта есть все.

— Это большой номер, — переводит Ботинок. — Ты уверен, что именно он нужен тебе? Ведь это слоновий калибр.

Я утвердительно киваю головой.

— Ты из него стрелять собрался, дядя Шарик?

— Да, — твердо говорю я.

— Средняя камера подойдет? — вполголоса продолжает Ботинок.

Куда там! Самая-самая!

Продавец все-таки рекомендует брать мундштук со средней камерой. Я показываю на бумажку, которую написал Белк — ту самую, где только что горел знак «больше». Теперь на бумажке написано «Сфыр».

Хорошо. Пусть будет самый большой номер и средняя камера.

Но пусть тогда будут и самые тяжелые трости. Так, чтобы я почувствовал, что все — караул.

Продавец быстро рисует саксофон, раздербаненный на четыре части.

И повторяет, чтобы вдруг без испорченного телефона — отца уже не переспрашивает.

Он открывает пошире рот, тянет букву «О», как недавно это делали финские девчонки на Рождество, но тут же затыкает со всего размаху ладошкой. Как я снежком. Он что видел? Я непонимающе верчу головой.

Тогда он берет из-под стола старый, ржавый и показывает на пластинку Паркера, где хорошо виден его саксофон, — вот такой надо. Показывает на пупочку у того и на пупочку у того. Оркестровый? Это я уже и так знаю.

На современный саксофон такой мундштук не пойдет.

С неправильным мундштуком, если и будет «О», то тебя сразу заткнут. Как снежком. И правильно сделают.

— У нас с тобой не Ямаха? — уточняет Ботинок, хотя и сам знает, какого динозавра он приволок.

— Олдс, э-э-э, — вспоминаю я. — Олдс Амбассадор.

И продавец отводит меня в помещение для того, чтобы я смог наиграться там вдоволь. Я со скрипом насаживаю на саксофонную шею мундштук и понимаю, что пробку придется переклеивать.

О-о-о-о!

Я жду снежка.

Но вместо снежка — восторг. Мне достаточно пары минут, чтобы понять, что этот мундштук мой. И снова грустная новость. Играть на нем я все еще не умею. И вряд ли когда-нибудь научусь.

Выхожу из комнатухи все же довольный. Ботинок язвительно намекает на утиный манок. Но продавец кивает, мол, так и надо. А после того, как чек выбит, прицеливается в меня через новый мундштук. И вид у него теперь лихой и придуристый.

— Well… Еще кофр, — Ботинок спохватывается.

Ах да, точно — кофр еще.

— С ушами, — показываю на собственные уши я.

Ботинок удивлен, но продавец все понимает. Ушастый саксофон — значит кофр с ушами. Он берет кофр и показывает, как нужно промять его, чтобы Олдс Амбассадор влез в него, не сплющив защиту нижнего си-бемоля.

— И еще один кофр, пожалуйста.

— Зачем?

Ботинок решил сегодня не удивляться.

— Для Марабовича, — бурчу я.

— Для Марабовича? — и брови Ботинка поднимаются кверху домиком.

— Который умер, — и, предупреждая следующий вопрос, добавляю. — Чтобы в том кофре похоронить.

Ботинок категорически против. И вдобавок пытается украдкой померить мою температуру.

В конце концов, второй дешевый кофр мне достается в подарок. Продавец доброжелательно хлопает меня по плечу, покоренный моим желанием стрелять из саксофона.

На прощание я машу ему рукой. А мне ставят музыку Чарли Паркера.

Знал бы продавец, что во втором кофре я собираюсь похоронить того, кто держал на себе своим блеянием весь «Ленконцерт», отдал бы мне мундштук совершенно бесплатно!

Выбравшись на улицу, я понимаю, что это последний шанс прогуляться с Ботинком без Мопси. В Петербурге такой возможности не подвернется…

— Я бы, пожалуй, выпил где-нибудь, — с большим воодушевлением шепчу я. — Чаю!

Но Ботинок бурчит в ответ, что в Хельсинки был пару раз. Он не помнит здесь решительно ничего — и в провожатого не годится. Кроме того, ему нужны фильтры для кофе. И между прочим флэшка чуть ли не на тысячу гигабайт. Если вернется домой без флэшки, то на работу он может больше не выходить. В общем, он намеревается в «Стокманн».

«Ладно», — думаю.

— Не позже двенадцати ночи, старик! — Ботинок объясняет, как добраться до отеля и как использовать кодовый номер вместо ключа.

А я и не против.

Засовываю руки в карманы, надвигаю кепку на глаза и отправляюсь гулять. Самое лучшее в мире ощущение. Я даже перестаю считать на герметично закрытый квадрат так, как всегда считал на прогулке — раз-два-три-четыре. А перестав считать до четырех, мне кажется, что можно больше не продолжать этим заниматься. Зачем? Я всегда подозревал, что дело тут вовсе не в счете. Дело, скорее, в том, как этот счет в голове перехитрить.

Сфыр…

Гуляю один и радуюсь, словно передо мной расстилается не Хельсинки, а Занзибар или Ибица. Радуюсь совершенно новому для себя ощущению. Сфера! Сфыр! Дядя Шарик!

Как рекомендует путеводитель, начинаю с вокзала — с тяжелыми дубовыми дверьми устремленными вверх. Я пробегаю вокзал насквозь. На обратном пути сбиваю туристов. Флаг с баньянами, бататами и птицей на шильдике. Гаруда! Интересовался когда-то геральдикой… Замечательный флаг Индонезии!

Осматриваю буфетные бутерброды. Тоже понравилось.

Выбегаю и замираю перед скульптурами.

То, что они похожи на сцену из «Властелина Колец», мне по барабану. Больше удивляет то, что лица у тех, кто тусуется на вокзале — те же.

И страшновато, если хотите, становится. Как будто ты только что узнал, что твой родственник — викинг.

Ритм, как сердце пульсирует. Сам по себе — чучух-чучух. Я беру в рот целую горсть сальмиака. Действительно — самая настоящая кошачья моча. Но все равно нравится.

— Потерялся? — голос, кажется, исходит из урны, доверху забросанной коробочками для еды.

— Нет, — машу рукой я.

Никто меня, впрочем, не спрашивал.

Здесь все потерялись. Здесь все так орут, что померещится может все, что угодно. Люди орут — черные, белые — а теперь еще и чайки, устроили бойню из-за недоеденного картофеля фри. Так что расслышать здесь русское «Потерялся?» нормально.

Я сижу на стальной перекладине перед «Хесбургером».

Народ не столько тусуется перед «Хесбургером», сколько давится в очереди на такси.

Каждый кричит о своем, оттого здесь шумно, но в принципе довольно уютно. Хотя время и поджимает. На вокзальных часах без пяти три.

Я вынимаю из ржаного бургера рыжий волос и с отвращением отправляю его в картонный сугроб. Он вырос на месте мусорной урны. Подумав, я выкидываю туда же и бургер. А на куртке куча Мопсиных волос. И поэтому все на меня смотрят.

Если женские волосы на куртке говорят о том, что ты крутой тип, то мне все равно. Пускай смотрят.

На часах почти четыре утра.

До отъезда не хочется возвращаться.

Настроение падает.

Чтобы настроение поднялось, надо подумать о книжках, музыке или хороших людях.

Думаю ли я в этой связи об отце?

Нет.

Я думаю о том, купил ли он флэшку. Встаю и покачиваясь от гамбургеров отправляюсь гулять дальше…

Дорогой до дома со мной никто не разговаривает. Ни Мопся, ни Ботинок. Они даже не смотрят в мою сторону — все шесть с половиной часов пути и полтора часа на сборы до дому.

Вот только очень уж это хитрое орудие — не разговаривать. Приходится предостерегающе выбрасывать вперед руку вместо того, чтобы сказать нет. И еще задумчиво рассматривать углы, боясь открыть рот, чтобы случайно не дать положительного ответа. Мне не нравится. Но что тут поделаешь, скандал.

Я продолбал сразу все. Ботинково хорошее ко мне отношение. Концерт лучшего в Эстонии пианиста продолбал.

Ощущения — как у лабораторного ежа. Но это не эксперименты. Это наказание. Меня карают молчанием, непожиманием руки и отсутствием на кухонной столе прощальной записки.

Все так, как мне и хотелось.

Дверь закрывается. Чешется нос.

Появляется Телониус Белк. Я делаю приветственный знак, убегаю в туалет и от переизбытка эмоций напруживаю желтого до самого ободочка. Потом неаккуратно спускаю воду и вытираю нос. И одновременно слышу как снова открывается прихожая дверь, — выглядываю в щелочку, — Мопся.

И Телониус Белк.

С минуту, они смотрят друг на друга в упор.

Дверь за Мопсей захлопывается.

— Ну почему ты исчез? — спрашиваю буднично.

— Я исчез? Нет, вроде здесь был все время.

Я вспоминаю застрявший в зубах рыжий волос из ржаного бургера и понимаю, что это были не Мопсины волосы. Это был Телониус Белк.

— Все время? — уточняю я. Белк пожимает плечами. Я машу рукой. Помогаю Белку заварить морошковый кофе.

— А мы будем делать ржаные бургеры? — интересуется он.

Ржаные бургеры? Почему бы и нет.

Я прикидываю размер сковородки и решаю оставить эту затею на завтра. Вроде осталось пара скукоженных прыщей проросшей картошки.

Ухожу с кухни, сажусь за «Эстонию». Прогоняю смертоносную целотоновую гамму по всем октавам. Жизнь входит в привычную колею. Уютно без родителей, как не крути… Не хватает, может, только собаки.

Оказывается, что Белк не против некоторых пород собак. Хотя дома такое заводить он не хочет.

Пожевав картошки в мундире я выплевываю пресную кожуру. Ну и гадость. Хорошо бы вечером сгонять в магазин. Но не сегодня. Сегодня надо похоронить Марабовича.

4

Зимнее солнце начинает слегка припекать. Нет, чтобы взять, да и растопить снег. Ни за какие коврижки.

Вспоминаю, какой он был — Марабу.

Я упихиваю дряхлый ушастый саксофон в новый, практически белоснежный кофр — нет, даже не проминаю поролон. Уши саксофона сами чуть гнутся.

Наконец уместил. Пытаюсь настроиться на похоронный лад.

Плеер уже давно не работает. Слишком долго простоял на окне и батарейки отсырели. Поэтому, вместо подобающих случаю маршей — детская песенка про чухчух-чучух-чучухающий паровозик. За шиворот падают капли — не то снег, не то дождь. А Белк предусмотрительно взял с собой зонт. Очень уместно для похорон в такую погоду.

— Падап! Бам! Пап!

Наигрывая на губе, Белк подкидывает зонтик то вверх, то вниз. Он балансирует им на носу, хотя и недолго — ветер подхватывает зонт и относит к соседнему дереву. Но Белк ловит зонт, и через секунду все повторяется. Мы маршируем вокруг, а Белк балансирует зонтом на носу. Получается очень воодушевленно. Как будто он клоун, и оркестр поддерживает его, независимо от того, отбросит ли ветер в сторону зонт или вывернет наизнанку. Весело.

Так бы всю жизнь с зонтом на похоронах и ходил.

Останавливает только то, что на меня в упор смотрит та самая девушка в искусственной шубе.

Черт!

Заметив Белка, она удивленно переводит глаза то влево, то вправо.

— Исчезни, — шиплю я Белку.

Но Белк почему-то не исчезает…

Я неуклюже подливаю девушке чай. Неуклюже, потому что боюсь опростоволоситься. Вдруг она не пьет чай? Вдруг она предпочитает водку «Финляндия»? Нет, ну, а вдруг?

— Зонтик, — объясняю я.

Улыбаюсь.

— Зон-тик, — заворожено повторяет она, но добрасывает к этому слову миллион своих финских слов, которые ничего не добавляют к взаимопониманию.

Я делаю последний шаг.

— Как тебя зовут? — по-русски спрашиваю я.

— Лайне, — сверкает глазами Шуба, словно где-то там у нее в глубине у нее электрический свет.

— Тема, — с облегчением говорю я.

Имя Лайне мне нравится.

Как-никак, первое настоящее имя среди окружающих меня белок, мопсов и марабу. Если не считать за настоящее имя Телониуса.

Итак, Лайне!

Я, кажется, первый раз назвал здесь свое имя.

И оно мне не нравится.

— Теэму, — повторяет по-своему Лайне. — Те-э-э-эму, — тянет она.

Белк в недоумении. Тема? Как же так. Меня никто так не зовет. Но все изменилось… Но «Те-э-э-эму» мне становится тоже не хочется.

Шуба собирается уходить. Волосы бабы-яги — в пучок.

Смотрятся они как увядший букет в чем-нибудь будничном — ну, скажем, в банке. Интересно — шуба это ее повседневный наряд? В чем Лайне ходит, к примеру, летом?

Сейчас она уйдет. Откуда-то вылезет Телониус Белк. Я подружился с Лайне… Интересно, как ему это понравится?

В коридоре Шуба берет разлинованную записнушку. Она слюнит карандаш и рисует поперек всех линеек — саксофон с длинной гусиной шеей. Прекрасно, надо сказать. Еще никому из тех, кто не держал саксфона в руках, не удавалось правильно его изобразить. Обычно получается всех просто труба с пуговицами.

А это похоже на саксофон. Пора бы уже контактные линзы себе заказать — вот о чем я сейчас думаю.

Я наклоняюсь как можно ближе и киваю.

Убедившись, что я опознал саксофон, Лайне рисует рядом другой, не менее качественно выполненный.

Далее она рисует могилу и впендюривает между двумя инструментами вопросительный знак. «Закопал», — показываю я жестом. — «Навсегда?» — делает она напряженную волну руками. «А что?» — выпячиваю подбородок и с интересом прищуриваюсь.

«Выкопай», — демонстрирует взмахами рук она, и кидает в угол воображаемую лопату.

«Не знаю. Похоронил. Вечным сном», — зеваю я.

Она сердится.

Как показать знаками то, что это навечно?

Лайне выдирает второй лист и чиркает попеременно то левой, то правой рукой.

На второй бумажке фамилия, номер квартиры и телефон. Я не успеваю рассмотреть все в подробностях. Бумажка сделала обманный маневр и исчезла в кармане искусственной шубы.

Выкопаешь обратно свой саксофон — получишь такую бумажку. После дважды неправильно понятой пантомимы с фароотражательными человечками, я уже не в чем не уверен. Ну хорошо… Пока так.

Можно просто вычислить, где Шуба живет, звоня на каждом этаже в дверь и спрашивая Лайне. Или просто взять да Кудряшки спросить. Видимо, здесь так не делается. В Тууликаллио предпочитают звонить. Даже если живешь на разных этажах одного дома.

Я надеюсь, что Лайне не имеет никакого отношения к охране окружающей среды.

Поздновато я, конечно, об этом задумался.

Отчетливый удар по трости на новом мундштуке меня ошарашивает. Посмотрите на Белка — тот даже жевать перестал. Я бью по трости изо всех сил, а он стучит по елочке ворсистой лапой. Ударяю я, отзывается он. Так врач выстукивает условный рефлекс молоточком.

— Тело не ус! — заявляет он с брезгливостью человека, перед носом которого покрутили какашкой.

Что произошло.

Надеюсь это не потому что я играю, сгибая пальцы?

По мнению вредного Белка на саксофоне как раз таки нужно пальцы сгибать. Поднимать высоко только не надо. Не следует и обрушивать их на клапаны. Ведь это тебе не рояль.

Странная техника.

Не для того я поменял печатную машинку на нормальный, человеческий саксофон, чтобы…

— Белк, — осторожно спрашиваю я. — Ты ведь не умеешь играть на саксофоне, да?

Белк мотает головой и бодро высасывает из банки предпоследнюю маринованную кукурузину. Уксусную жидкость он без всяких сомнений выливает под куст. Остается одна, самая маленькая кукурузинка.

Какое играть, — машет хвостом он. Он и в лапушках-то этот дурной инструмент не удержит.

— Это все, что ты можешь мне сообщить по вопросу игры НА САКСОФОНЕ?

Утвердительный кивок и в Белке каким-то образом исчезает последняя кукуруза.

Кусты у безымянного шоссе в сторону Хельсинки.

Доносятся свистящие звуки — первый, второй и третий. Практически один за другим. Как будто кто-то рассекает воздух прутом? Это шумит трасса.

Раньше я об этом нечасто задумывался…

Несмотря на отсутствие светофоров, движение здесь, прямо скажем, страшное. Говорят, в городе можно ехать не больше тридцати километров в час. Тууликаллио за полноценный город никто не считает.

Машин и правда стало побольше.

Только что пронеслись три подряд.

Рядом с поворотом на Иматру — где еще плашка с лютеранской церковью и мечетью — новенький дорожный знак. И цифры — 120. Никакой вывески «Тууликаллио» нет. Они, может быть, даже не подозревают, что несутся через Тууликаллио.

— Маленький автомобильчик, — орет Белк. — Слышь, юноша — там впереди маленький автомобильчик.

— Не знаешь, как меня зовут? — обижаюсь на «юношу» я. — Забыл что ли?

— Нет, — признается белка. — Не забыл. Просто не знаю. Вслушиваюсь, как тебя называют другие, но постоянно забываю. Но если хочешь, мы познакомимся заново и я постараюсь некоторое время не забывать.

Я фыркаю.

— Ты же собаку хотел завести, — говорит белка. — Собака ведь не знает, как тебя зовут. Она только догадывается.

Догадываться. Уж я-то знаю, как это бывает.

Лайне предлагает смотаться в дальний супермаркет вдвоем.

Белк недоволен. Всякий раз, когда он видит Лайне, качает головой.

Теперь она и вовсе заходит некстати — врут, когда говорят, что за границей нельзя появиться на пороге чужих квартир без звонка.

Меня беспокоит обещание Белка уйти в зеркало навсегда. Как бы не так! Мы не закончили урока с прямыми пальцами. Но Белк успокаивает меня тем, что он не какая-то там зверюшка, чтобы сгинуть под чьим-нибудь трактором. То есть, когда ему будет нужно, он, конечно, уйдет, но не сгинет. И сейчас, разумеется, уходить он не планирует, — успокаивает меня Белк сидя на крутящемся стульчике.

Зверюшка! Он ведь и вправду зверюшка…

Я готов провести всю жизнь без подружки, родителей и опекающих лиц. Но на практике это означает что меня положат в темную комнату на всю жизнь. Неспроста Мопся ко мне так присматривается.

Если совсем на честняк, то я предпочел бы, чтобы Белк не уходил никогда.

Я уже отдаю себе отчет в том, что похож на идиота гораздо больше, чем кто-либо другой из Тууликаллио.

Взять хотя бы зарывание саксофона с зонтиком на ветру и последующее откапывание его обратно.

Зарыть саксофон удалось, не привлекая к себе внимания. Но на откапывание уже собралась публика — хоть билеты продавай.

Это все Лайне.

После этого представления перед окнами опять замаячил Марабович. Грустный, замученный. Засыпая с ночником-метрономом, я вижу, как он смотрит из темноты. Смотрит и все.

Вот бы сейчас лето! Я бы не обращал внимания на Марабу — спал бы себе и спал. С открытым окошком бы спал, и на комаров тоже не обращал бы внимания. Но ведь зима. Когда из окна на тебя смотрит холодное злое лицо, то по телу мороз пробегает. Мало мне мороза на улице! И да… Страшно!

— Оркестровый! Оркестровый! — доносится с улицы по утрам.

Это уже слишком.

— Оркестровый, — холодею я в полусне, а потом, как ни в чем не бывало, встаю. Это всего лишь вороны.

Белк внимательно изучил маячившее за окошком лицо, взглянул с глазу на глаз и без всякого интереса сказал — что ж, удивительно, но такое бывает. От одиночества не только хорошее может тебя навещать. Может придти и доброе, и плохое. И мне повезло, что первым меня заметил он, Телониус Белк, а ведь могло посетить нечто более страшное.

— Одна радость, — продолжает Телониус Белк. — Играть перед Марабу я научусь гораздо быстрей. От ужаса. Последствия будут, конечно, непредсказуемыми. Но играть я научусь лучше всех. Он знает. Шесть лет на кровати — не шутка. Главное не отступать от намеченного ни на шаг. А там глядишь и научился бы.

— То есть если просто взять его, да закопать, не поможет? — спрашиваю я и, зевнув, гашу свет. Лицо старого саксофониста сразу же вырастает за окном как надутый воздушный шарик.

Белк не отвечает, задумчиво танцуя на столе несогнутыми пальцами. Это балет, но по медвежьему неуклюжий. Два шага вперед. Потом-таки споткнулся, упал. Потом наконец взлетел, как будто на парусах. Но приземлился опять-таки — неуклюжим медведем.

— Не поможет? Ведь так? — настаиваю я.

— Да, это так, — отвечает Телониус Белк.

5

Первый погожий, солнечный день пришел в Тууликаллио неожиданно. До наших мест даже загоральщики с мангалом добрались, но байкер с первого этажа их прогнал.

Байкера зовут Том.

«Том из Финляндии», — представился он, как только выслушал мою вариацию на тему Сибелиуса. Кудряшка, поливавшая цветы под окном, зашлась от хохота. Но байкер молчал. Мой Сибелиус вызвал у него реакцию, далекую от нормальной. Он долго тер глаза и Белк потом жучил меня тем, что всем хана — придется теперь упражняться на Сибелиусе каждый вечер.

«Ничего, — решил я. — Прорвемся».

На Сибелиусе так на Сибелиусе.

Но на Сибелиусе мне пришлось прорываться сюда в другой раз. К Тому из Финляндии он отношения не имеет.

Это был совершенно другой Сибелиус.

Я прочел это слово на железнодорожном билете.

Как сложно, оказывается, говорить пальцами. А записками-то как сложно писать!

Я слышу Шубу издалека, характерный бег по лестнице — будто ящик со стеклянными бутылками вниз спустили.

Всякий раз, прилетая ко мне впопыхах, она шлепает об стол тяжелый блокнот с приклеенными к нему полузамерзшими листиками. Листики пахнут. Снег сошел. Зима отступает. Но это лишь кажется. Конец января. Зима продолжается.

Шуба рисует рояли, шлепает вопросительный знак, прибавляя к нему восклицательный.

По мере сил, рассказываю о себе.

Это нетрудно.

Достаточно подойти к «Эстонии» и вспомнить септаккорд позаковыристей.

Сомневаться в том, что я музыкант уже не приходится. Взгляните, до чего я довел рояль, или подсчитайте, сколько часов я за ним провожу. Три клавиши уже выскакивают, как черт из коробки. А про часы, проведенные за инструментом, Лайне и сама понимает — рисует, как у всех от меня трещит голова. И показывает, как Том из Финляндии идет через комнату с больной головой и вздыхает.

— К чему меня так сильно готовят? К какому-нибудь важному конкурсу? — спрашивает она.

Я пожимаю плечами.

Шуба пристраивает воображаемую скрипку к плечу.

Я — маленькая Бабя-Яга из немецкой детской книжки (а чем, интересно Лайне красит свои волосы?), которая весь год училась колдовать, делала хорошие дела, а на совете ведьм ей вдруг не разрешают веселиться, потому что, видите ли, все ее хорошие дела — на самом деле плохие.

В общем, Баба-Яга выучилась колдовству, устроила инквизиторский костер для остальных ведьм и осталась единственной.

То же самое придется сделать и мне.

Только я вовсе не собираюсь на Блоксберг.

Чем занимается Лайне? Хорошенько подумав, я достаю наклейку с надписью «Работать запрещено». Их продают в канцелярском отделе супермаркета по тридцать центов за штуку. Проходя мимо, финны смеются и прихватывают с собой парочку.

Я тоже купил три штуки. Одну наклеил отцу в машине, вторую Мопсе на спину.

Ставлю против изображения рабочего вопросительный знак. Лайне на секунду становится серьезной.

— Ну? — наклоняюсь в ее сторону я.

— У! — трясет головой она беззаботно.

Вопросительный знак.

Еще один вопросительный знак.

И Лайне рисует сложнейшую комбинацию — поезд, человек с вытянутым пальцем, пустые бутылки и полицейский со свистком. Потом новый сюжет — большой, просто огромный готический собор, в который врезаются электрички, открытая банка с пивом и гитара на привязи для велосипедов. Наконец, заканчивает ребус изображением двух держащихся за руки девиц с косичками, рвет нарисованное ранее на куски и сваливает, перемешав все до состояния первобытного хаоса.

— Понял, нет?

Я киваю. Хотя на самом деле ничего не понял. Почему о собор разбиваются электрички? А почему гитара на привязи?

Она показывает, что ей всегда холодно.

Шубу, значит, поэтому носит.

Расхрабрившись, пытаюсь объяснить, что я здесь совсем один.

— А за квартиру ты платишь? — беззвучно шевелит пальцами Лайне.

Она обводит рукой все вокруг.

— Отец, — кое-как изображаю я на бумаге ботинок. Потом зачеркиваю и рисую человека выше себя.

Она отбирает блокнот и пишет поперек всей обложки: «SVADEDKIN?»

Я машинально исправляю.

Неужто, она действительно знает?

От фамилии отца, она перенаправляет стрелочку ко мне и ставит рядом вопросительный знак.

Да. Я тоже Свадебкин.

Подумав, я без всяких комментариев изображаю Белка.

А Лайне неожиданно понимающе улыбается, пишет и, натянув шубу через голову, стремительно убегает по лестнице вниз.

Под белком слово Alepa.

Весь словарь перерыл — не нашел что такое.

Белк садится за рояль и начинает играть. Он увлекается и наворачивает негнущимися пальцами так, что посуда трясется. Одна лапа поддерживая ритм бьет об пол немножко не в такт, вторая болтается и меняет акцент произвольно. А еще хвост. Такое впечатление, что третья рука вырастает, когда снимаешь горячий чайник с плиты и переворачиваешь что-то на сковородке одновременно.

Сфыр! Чайник летит в сторону…

Приходится задернуть окно, чтобы те, кому приспичило подойти, не раскусили, что играю не я, а большая пушистая рыжая белка…

— Тело не ус! — объясняет Белк позже. — Нельзя бежать, думая о правой лапе.

— Хм, — недоверчиво тяну я. — А если о левой? Может, она толчковая у меня?

— Толчковая? — переспрашивает Белк, а сам вынюхивает что-то шершавым, живым, дерматиновым пупырчатым носом.

— Когда на елку лезешь, ты о чем думаешь? — подкидываю новый вопрос.

Вспомнил, как мы увиделись первый раз. Неужели он после этого он ни разу не лазал на елку?

— О бесконечности, — перечисляет Белк. — О взлетной полосе. О квинтовом круге. О том, что ничто никогда-никогда не закончится. О роялях. Только без черных клавиш. В переносном смысле. В жизни без черных клавиш никак. Но если о черных клавишах задумаешься, когда на елку лезешь, упал и начинай заново.

Я вспоминаю о Ботинковых подножках и подсечках.

Черные клавиши — это что? Ответ на мои вопросы?

— Залезешь по елке? — небрежно бросаю я.

Елка качается прямо перед окном.

— Вот еще, — Белк водит носом вокруг себя так усердно, что приподнимается на задние лапы.

Если уговаривать, то из вредности не согласится.

— Сфыр. Очень хочется, — все же канючу я. — Залезь на елку. Это быстро. Раз и все кончилось. А я посмотрю.

— Если я буду знать, что елка когда-нибудь кончится, то я к ней и близко не подойду — категорически отказывается Телониус Белк. Он вынюхал на хлебной полке покрытый крошками сыр. — Не люблю спускаться. Люблю лезть. А вверх или вниз — без разницы.

Мажет на сыр клюкву и масло из брюквенницы. Брюквенницу Белк выдумал сам, но поскольку сезон брюквы не начался, мы храним там подмороженную ягоду и соленое масло.

— Смотри, — делаю еще одну попытку я. — Вот лапа. Вот елка. Вот до мажор. Потом до-диез, да?

— До мажор не елка. — капризничает Белк. — Это другое дерево. Я с такого не ем. А с до-диеза падать неудобно.

— Ну а как ты лезешь? Скажи, что ты чувствуешь? Ну, пожалуйста…

— Да я вроде забыл, — смущается Белк. — А сыр еще есть?

— Как падаешь, только наверх? — делаю последнюю попытку я.

— Забудь, что у тебя лапы! — все отрицает он, справившись с едой.

И зевает.

— Иди спать. Не думай о лапах.

— У меня нет лап, — мрачно говорю я. А, в целом, Белк прав. Думать о лапах впустую не обязательно.

Я ухожу спать, а в темноте, закрыв глаза, продолжаю заниматься в голове. Уже совсем лениво. Так, словно кормлю синичек. И все получается хорошо. А когда лишний раз думаешь — только зря отвлекаешься.

6

Наконец настает день, когда понимаешь, что научился играть, не сгибая пальцы. В доказательство провожу по клавишам ту самую Монковскую подпись целотоновой гаммой. И ощущения не обманывают. Каждый палец — собака, посаженная на цепь. Каждая собака, посаженная на цепь — разряд сродни электрическому.

Ощущаю себя при этом глупо — не то клоун, не то фокусник, а может, и аниматор с пальчиковыми куклами; показываю сказку.

Кабинетный рояль «Эстония» еле живой. Я угрохал его за несколько месяцев. «Но неплохо, правда, неплохо», — думаю я и впечатываю в клавиши «Эстонии» то, что мне видится вариацией на тему Honeysuckle Rose. Под пальцами проваливается ми-бемоль четвертой октавы. Музыка звучит так, как будто играю не я.

Белк, обживший отапливаемую ванную, выглядывает, чтобы на меня посмотреть.

Не остается никаких сомнений, кто у нас в «Эстонии» самый лучший.

А февраль тем временем подходит к концу. Я успеваю выучить пару десятков финских слов, которые, впрочем, мне особенно не помогают. Узнав, что я в школе немецкий учил, Лайне подсовывает мне шведский. За неимением лучшего, я получаю несколько шведских книг. Под дверью будет высыпан миллион шведских комиксов. Том из Финляндии постарается. Бамсе, Кронблом и Пеллефант. Они помогут справиться с взаимопониманием.

Белк счастлив. Он обсфыркал все комиксы и сказал:

— Пахнет, как в книжном магазине. После наводнения…

А я подумал: «Что-то здесь есть. Книги пахнут. Плавают, но не тонут. Бери, какую хочешь, читай. А не играй на инструменте целыми днями, как маленький…»

Чего не отнимешь у Белка, так это то, что он может все хорошо объяснить. Но образы у него все больше нюхательные. Чаще всего просто «Сфыр». Но иногда в сфыре можно услышать взаимопонимание.

Мы понимаем друг друга без слов (ну а как еще прикажете понимать воображаемых белков?).

Это неплохо.

Только вот говорить я, кажется, совсем разучился.

Ботинок давно не звонил. Я набирал его пару раз, но все что получил — удовольствие, что могу разобрать по-фински слова «абонент» и «недоступен».

Осталось выучить шведский язык и начать разговаривать на нем с Лайне.

Общаться вслепую знаками надоело.

Взаимопонимания нет.

Мы однажды играли. Она бросила в воздух кубик. Я кивнул. Она засмеялась. Боюсь, как бы ни оказалось, что играли мы в «правду и вызов»…

За это время мне так и не удалось объяснить Лайне, что значит Телониус Белк. А ей — приблизить меня к разгадке, отчего в церковь врезаются электрички. И в магазин мы ходим отдельно.

Скрипит по мере продвижения очереди товарная лента. Сжимает и разжимает кулак лысый тип. Он похож на голубя. В кулаке у него две жвачки. Перед ним человек пять. И перед каждым по паре тележек.

Кто-то жалуется, медленно, мол. А по мне, хоть и медленно, но хорошо — как по эскалатору, торжественно и неизбежно. Скорбно. Мне нравится медленный торжественный темп в музыке — «граве». Всего тридцать по метроному. Такое вот «граве». И, тем не менее, мы приближаемся.

Все бы хорошо, если бы не тетка в лиловом пальто. У нее килограмм пятьдесят киселей с наполнялками-загогулинами из соленого теста. И каждый из таких киселей она проверяет на вес.

Любимая, внешне невозмутимая кассирша с дырками в растянутых ушах и татуировками, будто с доски объявлений, долбит кассовый аппарат. Тычет, вызывая невидимый лифт, стучит на печатной машинке. Кнопок там всего-то семь. Как в октаве. Продуктов кассирша не видит. Реакция на окружающий мир зависит от того, застрянет ли в кассе чек, не будет ли сбоя в операции по платежной карте.

Пальцы кассирши совсем не сгибаются. Ногти скрипят, попадая в промежутки между кнопок. Гнутся словно пластмассовые.

Белк сражается с продуктами. Продукты набрасываются на него. Приходится от них отбиваться.

Выхожу из очереди.

Сажусь на корточки, прижимаюсь спиной к жвачному лотку. Начинаю слушать, как в простукиваемые отрезки втемяшиваются еле заметные паузы от попавших между кнопок ногтей. Ритм, невзирая на паузы, остается неизменным.

Ни капли не надоедает. Но Белка, пожалуй, уже долго нет.

— Белк, — кричу я. — Телониус Белк! Ты куда опять подевался?

— Без меня, — резкий взмах невдалеке от меня. Хвост затейливо обвивает бидон с соковым концентратом. — Я забыл про морошковый кофе, — концентрат падает.

Опираюсь головой о жвачный лоток, продолжаю слушать, как стучат кассиршины ногти. И вдруг, чувствую — стоп. Мелочь перестала сыпаться. Ногти не скрипят о пластиковый барабан.

Это чек застрял в кассе. Пальцы продолжают порхать над кнопками, но все становится вдруг бессмысленным. Лента с продуктами останавливается. Стоп. Ларгиссимо! Очередь умерла.

— Иди без меня, — кричит Телониус Белк над самым ухом.

На него нападает мешок с наборами для домашнего пивоварения. Белк просачивается сквозь брешь в горе соковых пакетов.

Никто не может его поймать. Потому что не видит. Одному мне позволено наблюдать, как Белк суетится в поисках ингредиентов для морошкового кофе.

Он вытаскивает пластиковый бидон из-под огромной горы точно таких же бидонов. Те начинают сыпаться. Я закрываю глаза. Слышу грохот, как при землетрясении. И — неодобрительные проклятия.

Я открываю глаза. Перехожу в очередь на самообслуживание. Там медленно считываю чеки и простукиваю аккуратными триолями. Вставляю сильно потертую кредитку в щель. Но все это уже не так интересно.

А рядом происходят события поинтереснее.

— Поговори со мной! — требует Марабу, — Ну, хочешь вслух? Вслух, а?

Вслух?

Это Марабу. Настоящий, похожий как две капли воды на предыдущего, который саксофон потерял. В руках у него вилы в упаковке. За спиной — огромный хозяйственный магазин.

— Никто не говорит здесь со мной!

Кажется, я уже начал забывать, как это — разговаривать.

Я могу только бессмысленно блеять. На очень плохом финском, на котором у меня не получается сказать «спасибо», «здравствуйте», «который час» и «привет, Лайне». По-шведски мог бы сказать больше. Но слова там произносятся вовсе не так как написаны. Пишется «К», произносится «Ч». Лайне мне говорила. Выучить шведский по комиксам выше моих сил.

Хотя Марабу все равно.

— Да по-русски же, — требует Марабу и добавляет «йопт». Никак не могу вспомнить, откуда оно взялось — «йопт»? Из шведского языка прошлой жизни?

Я торопливо удаляюсь, а Марабу догоняет и со смехом сбивает с ног. Я закрываю лицо руками, потому что за всю свою жизнь еще ни с кем ни разу не дрался.

— Командир, ты куда?

Вдруг, откуда не возьмись, налетает Телониус Белк. Угрожающе фырча он вытягивает вперед лапы, суетится, клокочет и очень недовольно кричит на всех языках: «Сфы-ы-ыр!»

И Марабу отступает.

Я закрываю глаза. Открываю — вижу полицейского в каске. Пусть не в каске. Это что-то вроде шлема мотоциклетного. И даже снегоочистители маленькие на нем есть. А Белк куда-то пропал.

Полицейский произносит слова нараспев. Потом повторяет. И все это голосом, полным потусторонней певучей доброжелательности.

— I’m all right, — делаю попытку уйти в туман, как это делает Калле Анка из Томовых комиксов.

Но полицейский глядит вслед и приноравливается идти за мной странной гусиной походкой. Я обернулся — не отступает. Я вперед, и он за мной. Я останавливаюсь, и он останавливается.

Вот беда.

Наконец, я совсем запыхался.

Мы присаживаемся на уютной деревянной скамеечке между бронированным автоматом для оплаты каких-то услуг. Подозрительно оглядываю его со всех сторон. Полицейский как полицейский. Спортивный, плечистый. Ни капли агрессии. Он снимает шлем и оказывается, что он старше меня… ну, может быть, года на три, не больше.

— Дюяр окей? — спрашивает он.

Не по-фински.

Слишком коротко.

Наверное, по-шведски — Дю? Яр? Окей?

Кто-нибудь обращал внимание на то, что все длинные финские слова начинается с затакта? А то, что все шведские, звонкие и короткие фразы заканчиваются бревисом, кто-нибудь замечал?

Сидим мы довольно долго. Прогоняя сон, я надрываю упаковку мармелада и отправляю в рот сладкую пригоршню так, чтобы полицейскому сразу стало понятно, дескать, дюяр окей. В качестве ответного хода, коп достает из нагрудного кармана рацию и проговаривает в нее шесть слов одинаковой длительности. Все на сильную долю, без бревисов.

Где же Телониус Белк? Как различить его здесь среди наползающих в голову звуков?

Я слышу, за кассой работает другая кассирша. Раз-два-три-четыре. И потом вдруг пять. И еще раз пять. И наконец раз-два. Как это странно. Я шмякаюсь лицом вперед, а потом еще и переворачиваюсь на спину. Как тогда, в классе Горжетки.

Как же давно этого не было! Вначале успокоиться. Потом разбросать все, что под руку попадется. А что разбросать-то? Я хватаю с пола полицейский шлем и со всего размаха отправляю его ударом в сторону бронированного банкомата. Но вместо банкомата шлем попадает в витрину цветочного, который, слава богу, закрыт по случаю обеденного перерыва.

Полицейский сильно взволнован. А я с удовлетворением — сколько всего разбросал! — закрываю глаза и счастливо отрубаюсь.

Последнее, что я вижу — это Белк, поедающий мармелад из пластмассового ведерка.

Открываю глаза. Достаточно уютно, чтобы не испугаться. Классический офис — и все такое современное. Допрашивают меня, усадив лицом перед чистым, больнично-стерильным стеклом с ободочками ржавого цвета. Это чтобы не разбилось стекло. Или чтобы такие как я не разбили.

По ту сторону обо мне вежливо справляется русскоговорящий бородач. Белка не вижу.

— Ну что вы? За визой? По визе? Да? — спрашивает он неуклюже.

— По визе? Вроде бы так, — пытаюсь сообразить я.

Ну конечно, по визе.

— Можно ли документы?

На экстренный случай мне был дан документ, наличие которого даст ответ на такие вопросы. И я про него совершенно забыл. Потому что уже давно чувствую себя местным жителем.

— С собой нет. Они там, где живу.

— Вы где живете?

— Я живу здесь.

— С родителями?

— Нет, с Бел… Один.

Давно не слышал своего голоса. Оказывается, у меня невнятная речь.

Поднатужившись, я называю адрес. При слове Тууликаллио полицейские переглядываются. А название улицы успокаивает их окончательно. Пока ни одному иностранному злоумышленнику не удавалось произнести «Тейхтетияайсенкатуюксививаколме» без остановки.

Недолгая пауза.

Бородач слишком долго пытается вспомнить нужное слово. Наконец, брякает слово так, словно стреляет из ружья в голову.

— Опекунство?

Да, черт возьми, опекунство.

— Йо. Свадебкин Хелен? — уточняет мой полицейский, щелкая кнопками компьютера.

— Не понимаю, — честно говорю я.

Полицейские переглядываются.

— Вы принимали наркотики? — строго спрашивает меня русский бородач.

— Нет.

— Вы уверены, что вам не нужна помощь?

— Да. То есть нет. Не нужна.

Полицейские переглядываются еще раз.

— Можете сами идти?

Не хватало только полицейского в качестве сопровождающего. Соседи точно умрут.

— Не знаю…

Встав со стула, я почувствовал себя наполненным шариками-антистресс. Это шарики, которые насыпают в попы мягких игрушек, чтобы гиперактивные дети их трогали, занимая руки каким-нибудь делом. Трогаю за попу — да, попа сейчас чистой воды антистресс. И выше тоже антистресс. И в мозгах, пожалуй, тоже уже давно антистресс. Жаль, через кожу, кости и волосы ничего не потрогать.

Вот так уйти бы, не привлекая внимания, — удалиться, присвистывая. Но на противоположной стороне улицы меня ожидает растерянная белка величиной с подростковый мопед.

Улица совершенно пуста.

Обшитая рабицей, уходящая толстым проводом в стену, камера похожа на нелепый сачок. Двигается туда-сюда, притормаживая и залипая.

Так во время игры залипает саксофоновый клапан.

Чувствую за стеклами камеры грустный взгляд.

Радостная стокилограммовая белка набрасывается, обнимает и валит меня на спину.

Я отвожу Белка подальше от камер — быстрее, еще быстрее; мы уже почти летим и, наконец, приземляемся на детской площадке, недалеко от которой белка зарыла мешок с сокровищами из супермаркета.

Оказывается, он не видел, как Марабу нападал.

Он просто почуял опасность.

— Белк! Но ведь это Марабу все устроил? Вот гад…

— Пожалуй, да.

— Он в старом саксофоне живет?

— Марабу у тебя в голове живет. Вовсе не в саксофоне.

— А ты? — помолчав, спрашиваю.— Где живешь ты?

— У тебя в голове. Там живут Марабу. И Белк. И все.

«И Ботинок, — шепотом говорю я сам себе. — И Лайне».

— Почему бы нам его не проучить?

— Проучим еще, — отвечает мне Белк. — Сейчас, по-моему, рановато.

Мой вопрос заставляет его задуматься. Внешне он невозмутим. Но его выдают усы. Когда он нюхает, те шевелятся. Похоже на эрекцию: если уж начал нюхать, то этот процесс невозможно остановить или проконтролировать.

Усы наконец падают вниз, как сброшенные паруса с мачты. Белк поправляет шляпу и направляется куда-то сквозь метель.

Вперед, потом назад, потом еще немного вперед, и вот он уже далеко. Прет по заснеженной Иматре, весь из себя уверенный. Как инерционная игрушка.

Мне никак за ним не поспеть.

— Эй! Белк, — кричу я.

Белк вспоминает про меня и останавливается.

— Ты как, вообще, себя чувствуешь? — спрашивает он.

— Да что-то не очень, — признаюсь я и перестаю притворяться, что не пошатываюсь. Иду, вроде бы, прямо. А заносит меня на обочину в сугроб.

Тогда Белк берет дела в свои лапы. Как ему удается поймать автобус, я не знаю. Но меня подвозят, выражают искреннее соучастие и с молчаливого согласия пассажиров провожают до квартиры домой. Я ложусь на кровать и считаю овец в виде разводов на окнах. В этих разводах заключен явный смысл. Но мне его ни за что не поймать.

Просыпаюсь от того, что Белк спрашивает, можно ли включить погромче ютуб?

На моем телефоне нельзя.

В полусне я рекомендую положить телефон в жестяной стакан для зубной щетки.

Окончательно меня будит утробный рев. Кто-то играет на саксофоне. Или, судя по утробности переходящей в визгливость, саксофон играет на нем.

— А еще громче? — спрашиваю, вложив в реплику весь свой сарказм.

Белк горестно разводит руками. Мол, сам бы и рад, но громче никак. Старая, плохая запись. Утробный саксофон. Вроде бы даже не стерео…

Я вскакиваю с кровати и ударяюсь пятками о стылый пол.

— Ты с ума сошел? — интересуюсь я. — Соседи! Ты что не слышишь, как сверху стучит Кудряшка?

Никто не стучит.

Почему никто не стучит?

Белк выключает телефон ударом лапы. Стакан катится прочь. Некоторое время он сидит, прищурив глаза. А я удивленно смотрю, как неуклюжая белка ковыряется в поиске гугла.

— Понимаешь, — говорит Белк, показывая мне телефон. — Мне тоже захотелось собаку.

Я надеюсь увидеть что-нибудь милое.

Но вижу затравленных, оскаленных, изможденных псов непонятной породы. Кто-то рвется вперед, натягивая поводок. Кто-то безнадежно прилип к конуре, и натягивать поводок больше не в силах…

Белк проматывает бегунок, а там внизу безнадежно грустные бродячие собаки. Среди них есть очень породистые.

— Этот — Паркер. Этот — Эйлер. Этот — Бад.

Мне становится страшно.

— Дай-ка.

На фотографии — негр с бородой, в пасторской шляпе. В руке саксофон. Ушастый, вроде моего. Все остальное, вроде как, вытекает из саксофона и служит его продолжением.

«Умер как собака», — написано под картинкой. А больше ничего не написано. Все, что о нем следует знать.

Как же так? Неужели все?

Действительно, все.

Я не занимался дня три. Пообещал себе перерыв, и перерыв это слегка затянулся.

— Он правда умер как собака?

— К сожалению, да, — извиняющимся голосом завершает разговор Телониус Белк. — Играл себе, играл… — кашляет он… — Пожалуй, мы больше с тобой не будем двигаться в сторону несогнутых пальцев.

Он машет рукой и удаляется ужинать.

7

Когда думаешь о смерти, она приходит, садится и терпеливо ждет.

Мама только готовилась умирать, а я уже чувствовал, каким холодным становится воздух. И окна закрывал. А после наоборот открывал — проветривал комнату.

Я думал, что когда человек умирает, это можно почувствовать заранее. Но ничего не почувствовал. И даже запаха я не помню.

Кудряшка прокатилась по свежевымытой лестнице головой вниз. На улице взвыла сирена. Том из Финляндии думал что мотоцикл упал, и увидев его на месте обрадовался. Потом увидел, что поперек нижней площадки лежит Кудряшка.

Годы, проведенные в квартире с отцом, выбивающим что-то с чем-то на чем попало, научили меня не обращать внимания, когда за стеной что-то шлепается.

Я и не знал, что ее уже нет.

Лайне изображает падение с лестницы и рисует на черной скатерти крест.

Скатерть она принесла с собой.

Черная скатерть понадобится для обряда.

Кладбищенские птицы прилетели сюда раньше нас. Они рассаживаются рядами, не перемешиваясь.

Вот, например, целый ряд синиц с желтым пузом.

Больше всего мне нравятся совы. Они сидят на почтительном расстоянии от остальных. А вот вороны не нравятся. Ворон я предпочитаю таких, что можно встретить на помойке — уткнувшимися головой в полиэтиленовый пакет. А церковные вороны провожают меня прищуренным взглядом.

Ощущение, что жизнь ничего не стоит.

Жизнь — дерьмо.

Церковь — скособоченное здание из белого камня. Посредине — башенка. Ее легко спутать со стройобъектом. Наверняка колокольня. Типовой стройобъект.

Все строятся в очередь. Том из Финляндии — впереди всех. Он три раза стучит в дверь и прислушивается к шагам из глубин церкви.

Дверь открывает пастор-ворона в черном сюртуке. Внутри церкви светло и просторно. Деревянные скамейки, рассчитанные на пару сотен человек, кажутся совершенно лишними.

Пастор приглушает освещение. Том удовлетворенно кивает.

На один из пюпитров водружают Кудряшкин портрет. Затем пастор включает колонки. Потом раздают кофе. Алюминиевые холодные кофейники отражают свет от фонаря и чайных свечей в пескоструйных светильниках. Темнеет все еще рано. И как только за окнами собирается мгла, пастор принимается напевать под нос псалом, напоминающий джазовый стандарт. Это ритуал прощания с Кудряшкой.

Спокойный и торжественный ритуал.

Но пока еще далеко не похороны.

Похороны еще предстоят.

И я надеюсь, что это случится не в два часа ночи.

«Ничего, — успокаиваю себя я, — еще немного и я пойду домой, не дождавшись Кудряшкиных похорон. Тут от силы километров восемь — дойду. Не нужно машины, пропахшей покойниками. По дороге заскочу в магазин и приму успокоительный душ из мармеладовых мишек».

Дверь открывается. На пороге полицейский, одетый в черное.

Пастор спешит закрыть дверь, чтобы та не скрипела. Полицейский делает знак рукой. Это тот с бородой, поднаторевший в знании русского языка.

— Утак, — говорит полицейский с трудом. — Утка. Нет — Урна. Урна — это вам. До свиданья.

— Урна, — шепчу я.

— Отпевания не надо… Все покрывает церковный налог. — Он берет себя в руки и продолжает гораздо увереннее. — Места на кладбище тоже не надо. Только утилизация.

Он помолчал и грустно добавил:

— Мне пришлось ехать сюда за свой счет.

Полицейский сует мне в руки строгую черную урну. Урна тоскливо блестит.

— Вот так, — невозмутимо продолжает бородач. — Единственный родственник на этой территории.

Он вопросительно смотрит на Кудряшкиных друзей.

Те торжественно кивают.

Fru Helen Svadebkin, — написано на урне.

Ерунда какая-то. Что они там выдумали?

Свадебкин — это я. А Кудряшка — это Кудряшка.

Странно, но я ни разу не удосужился спросить, как к ней обращаться по имени.

Все смотрят на меня с хладнокровным сочувствием.

Я забираю урну вместе с черной скатертью, которую принесла Лайне. Чувствую себя удивительно глупо.

Потом все быстро расходятся.

Спокойно, Темыч, это тебе не скелет, не гроб, не мавзолейная мумия. Обычная пластиковая урна. Черная с золотыми буквами. Хожу по комнате из стороны в сторону. Соседство с покойником душераздирающе неприятно.

Поставить урну на унитаз? А вдруг разобьется?

Кудряшку отпели. Дурацкая урна с прахом стоит на столе.

Если двадцать раз подряд произнести слова «Это я», появляется щемящее чувство тревоги. «Это моя бабушка» произнеси хоть тысячу раз — никакого воздействия.

Пытаюсь вспомнить, что у нас с ней было общего. Фамилия Свадебкин. А хоронят ее не по-православному.

Набираю телефонный номер отца. Трубка свербит на ухо надрывными гудками — обертонами от концертной ля третьей октавы.

Сними трубку, Ботинок, чертов ты пень.

Абонент отключен.

Подумав немного, я решаю не психовать. Прости, Кудряшка. Ты стучала мне в стенку не ради того, чтобы я тебя уважал. Дело не в уважении. Не уважал бы тебя, — спустил бы сейчас в унитаз, разбив урну.

Мне показалось, что урна заулыбалась.

Что скажет Ботинок на то, что я хороню жителей Тууликаллио за его счет? Ах да… Ведь если мне она бабушка, то ему… она мать.

Я засмеялся.

Урна засмеялась со мной.

В старые времена можно было оставлять такие урны дома. На каминной полке или еще где. Но вряд ли мне разрешат. Я бы и сам не прочь, если бы меня похоронили по-лютерански — сдули как пыль и выпили вместе с кофе.

На следующий день Лайне объяснит, что делать и куда надо ехать.

Я в автобусе в обнимку с Кудряшкиной урной. Туман. Снега нет. Я опять встал не с той ноги. Но все складывается на редкость удачно. Автобус, по крайней мере, доезжает туда, куда нужно.

— Можно ли захоронить урну в частном порядке? — интересуюсь по-русски в окошечко.

— Можно оплатить, и все сделают…

Но когда приходит время платить, выясняется, что карточка моя заблокирована. Неловкая пауза.

Я психую за дверью.

У меня нет денег, чтобы похоронить Кудряшку.

Топчусь в коридоре. Пытаюсь купить при помощи карточки кофе. Но кредитка молчит. Выхожу на улицу. Туман почти рассеялся.

Интересно, о чем хотела бы спросить меня бабушка в такую минуту?

Смеюсь, но все равно стучу в урну — бабушка-а-а!

Из урны слышится шелест целлофанового пакета. «Такие дела», — смущенно киваю я смуглой девочке, проносящейся мимо на трехколесном велосипеде.

Рядом с урной (не той, где бабуля, а обычной мусорной) смущенно курит Телониус Белк.

— Это я тебя втравил в историю.

Начинается!

— Да что ты говоришь. Втравил! Я сам себя втравил. Я здесь был, когда тебя еще и в помине не было.

— А что здесь было, когда меня и в помине не было? — живо интересуется Телониус Белк.

Я смотрю на него грустным взглядом и не могу сосредоточиться. Урна мешает. Что было? Да ничего.

— А где ты был, когда тебя не было? — парирую я.

— Не знаю, — чешет нахлобученную ветром бровь Белк. — Может быть, в голове у тебя был. А может, лежал на диване у Панасоники…

И я ревниво вздыхаю.

Хотя к Панасонике друзей не ревнуют.

Я залезаю на полюбившийся валун и настраиваю мундштук. Ветер свистит. Снега уже почти не осталось.

Играю на саксофоне. «Мы перебегали берега» с блюзовыми просвистонами. Урна на валуне покачивается в такт.

Я принимаюсь говорить с бабушкой через урну. Не слышит она меня. Она и тогда не особо напрягала слух, а сейчас подавно.

Не могу удержаться. Надрываю целлофановую капсулу. Так бабушка будет лучше меня слышать.

Потом вытаскиваю целлофан. Кладу его перед собой, чтобы бабушка могла лучше меня видеть… И бабушка бьется по ветру в целлофане.

Испугавшись потерять бабушку, я пересыпаю ее прах в саксофон. Как на уроке химии — добавить серу и тщательно пересыпать в пробирку с медной проволокой. Капсула улетает. Слава Богу, успел высыпать все.

Бабушка теперь живет в саксофоне.

Я пытаюсь сыграть по этому поводу что-то хорошее, но понимаю, что сглупил. Играть вместе с бабушкой, живущей в саксофоне, нельзя.

Урна!

Бабушку еще можно спасти, пересыпав в урну. В целлофане она или нет — ей без разницы. Но где же та? Где-то здесь в кустах валяется.

Урна откатывается вниз и падает с валуна.

Я зажимаю пальцем все клапаны саксофона.

— Белк! Укради в магазине скотч, — кричу я сквозь поднимающийся ветер.

Телониус Белк беспомощно поднимает вверх видимые только мне лапки. Сквозь них дует ветер. Белк ведь не настоящий. Настоящего скотча ему такими прозрачными лапами не украсть. Если и украдет, то это будет воображаемый скотч. Как морошковый кофе и все остальное.

Я закусываю губу, закрываю все клапаны. Если нажать нижний си-бемоль, клапаны окажутся закупоренными. Остается лишь самый верх — куда вставляется шея и нахлобучивается мундштук. Но заниматься мундштуком некогда. Ветер усиливается.

Я закрываю отверстие подбородком и со всех ног бегу в магазин за скотчем.

Потом обматываю скотчем саксофон с бабушкиными останками. На ветру этим заниматься невозможно. Больше всего я боюсь, что бабушка попадет в рот. Поджимаю челюсть. Мимо несется машина с русским номером. А потом еще и еще. Отвернувшись, я делаю вид, что писаю.

Листаю в интернете воспоминания о Марабу. Плохой саксофонист… Хороший саксофонист… Неважно.

«Нужно найти мальчика для битья, чтобы дать ему все уроки», — так начинается одно интервью.

Я заметил, что лицо его больше не появляется перед окном. И вообще, больше не беспокоит. Но я все равно накрываюсь тремя одеялами.

— Да брось ты, — устало говорит Телониус Белк. — Я его уконтрапупил. В честной борьбе. Я, он и смерть. Старый ковбойский метод.

С того момента, как я Кудряшку похоронил, Белк тоже стал совсем призрачным. Ходит туда-сюда невидимкой. Никакого морошкового кофе не пьет. Зачем кофе призракам?

— Можешь теперь играть, — говорит Белк. — На саксофоне тоже. Теперь сможешь делать все, что хочешь, и на меня внимания не обращать. Я вроде больше не нужен.

— Почему? — пискнул я из укрытия.

— Потому что сфыр, ясно?

Последнее время я совершенно Белка не узнаю. Он совсем другой. И не только потому, что призрачный.

Все вокруг стали какими-то другими.

— Белк, — говорю я. — Ты реально считаешь, что его уконтрапупил.

Но Белк устало закрывает глаза и тревожно засыпает.

— В Хельсинки есть морошковый кофе? — спрашивает он во сне.

— Да, — озабоченный проблемой его призрачности, говорю я.

Несогнутые пальцы Телониуса Белка бегают по Лайниной скатерти. Потом переключаются на Мопсину вазу для цветов. И наконец успокаиваются, вцепившись в батон-чиабатту. Я вспомнил, что для морошкового кофе — это незаменимый ингредиент.

Провались оно пропадом.

И вдруг все проваливается. В буквальном смысле этого слова — все.

Добредаю до магазина. После кражи скотча продавщица меня боится. Из головы не выходит призрачный Телониус Белк.

Карточка не работает.

Как же так. Значит все?

Все.

Возвращаясь домой думаю о том, что все скоро закончится.

Что у нас есть? Морошковый кофе пропустим. Лакрицу можно есть несколько дней — все же не сальмиак. Мексиканские продукты. Кукурузные блины. Овсянка. Что там еще? Грибные кубики в уксусе. Черт…

С едой разберемся.

Переходить на осадное положение?

Я включаю телефон и бегаю взглядом по русским новостям.

Вдруг телефон начинает звонить, вибрируя. Звонит яростно, словно собирается нападать. Незнакомый номер, по напору чувствую — русский.

— Это я, Артем, — усталый голос Ботинка контрастирует с напористостью телефонного звонка. — Я уже на границе.

Он на границе.

— Да, вот… границы, — заученно повторяет Ботинок. Так, словно вспоминает о чем-то будничном, — скоро закроют. Не прямо сейчас, разумеется. Но в самое ближайшее время. А твоя карточка аннулируется уже прямо сейчас, — голос его твердеет. — А за ней виза. Собирайся.

Я молчу. Только дышу в трубку почаще, чтобы Ботинок понял — не из-за плохой связи молчу. Подножка последовала за подсечкой почти одновременно.

— Устал я. Жди меня завтра, — сбавляет тон мой отец.

А я сказал:

— Обратно езжай…

— Командир, — кричит Ботинок. — Ну хватит уже придуриваться. Слышь, командир?

— Я тебя не слышу.

— У меня нет времени, — сердится. — Ты что хочешь? Ты ведь знал, что я приезжаю постоянно и слушаю как ты занимаешься. А со вчерашнего дня теперь уже не могу…

Всегда мог. И приезжал.

Он слушал, как я занимаюсь…

Собака на поводке. Огромная свинговая злая собака.

— Я останусь.

Доносятся крики Мопси: «Че он творит?». И гудки.

Я включаю телевизор. Медитирую на новостной канал. Потом беру саксофон. Иду на гранитные скалы, прячусь в потравленные весенним теплом бугорки.

— Привет бабушка, — кланяюсь я пригорку, под которым лежит Кудряшка, упакованная в черный кофр от саксофона.

Вместо урны бабушку укрывает старый наполовину сломанный саксофон. Он наглухо замотан черным армированным скотчем. Будем считать, что скотч траурный. Раньше в нем жил Марабу, а теперь вот Кудряшка. Кудряшка будет здесь лежать до скончания века, ведь не всем же растворять себя в окружающей природе. Я знаю, что тут не делают так… Но Кудряшка… Пусть лучше так.

Утро было тревожным.

Дурацкое, никчемное весеннее утро.

На дорогу лучше не выходить — русские тренируются в скорости, не снимая зимние шины.

На одну финскую машину обычно приходится две с нашими номерами. В такие я залезать не хочу.

Еще одна машина с нашими номерами…

Скребу подоконник ногтем, давно не стриженным в связи с перерывом в занятиях.

Тяжело это признавать, но мой Белк сильно постарел, и стал совершенно прозрачным. Никогда не задумывался о том, что он сдаст назад. Да, он сдал, поседел и еле держится на ногах. Он не пьет ни «Шивес Ригал», ни морошковый кофе.

Спускается вниз по лестнице. Ни один дверной глазок не наливается чернотой — никому дела нет до старой, почти что прозрачной белки.

— Я пойду поохочусь на весенних жуков. Хочу жука. До смерти. Не могу, как жука хочется…

Я киваю. Переворачиваюсь на другой бок.

Последнее, что я вижу, — окно, а в нем Белка, поднявшего обе лапы перед машиной, словно старающегося ее из последних сил напугать. Как будто огромного жука увидел. Но это не жук. Это огромный тщательно отлакированный гроб с нашими номерами. Через секунду Телониуса Белка не стало.

8

— Воспользоваться правом недвижимости вы тоже не можете. И отец вам тоже не может ни в чем помочь. Видите ли, — женщина в синей форме откашливается. — Квартира оформлена на Марину…

Ей никак не выговорить Мопсину фамилию — Мопсиевская.

Лайне разводит руками. Тетка действительно сделала все, что могла. Через неделю Лайне уезжает на свое первое место работы — в Турку или куда-то еще. И если мы с ней увидимся, то уже только там, где электрички врезаются в махину средневекового собора.

Так, собственно, и произойдет.

А пока мне рекомендуют Хельсинки как единственный шанс, чтобы не возвращаться. И я бреду домой, обдумывая эту мысль. Ясно одно. Тууликаллио как обуза. Тууликаллио — это в другую сторону. Это к Мопсе.

— У вас, что, никого нет? — спрашивают из машины.

Мы с Лайне пришли к самому закрытию. За нами закрылась дверь и все вышли. Но тетка в синей форме не хочет нас отпускать. Она совершенно искренне хочет помочь.

Я вспоминаю поднявшего лапы Телониуса Белка и говорю:

— Никого нет.

А придя домой, делаю прощальный «Раунд Миднайт» по всей клавиатуре рояля.

Этот рояль «Эстония» — дрянь. Я давно понял. Но все равно играю — четко и резко. Несогнутыми пальцами, разумеется.

Раздается стук по стене. Это одна из соседских бабулек. Новая, вселившаяся позавчера. А потом — стук в окно. Едва слышный, так будто кто-то об это окно почесался. Это Лайне. Приободряет, протягивает руку, щекочется. Правда, через окно. Лучше бы рядом.

Из телевизионной коробки я смастерил две таблички. Долго сидел со словарем наперевес, калякал несогнутыми пальцами, как доктор Стрендж после аварии.

Теперь, с такими пальцами я только и могу, что играть. Ничем другим заниматься уже не получается.

Позвонил потом Лайне сам. Разумеется, в дверь.

Телефонного номера ее мне так и не досталось.

Лайне взяла маркер и заботливо обвела все мои неуклюжие финские слова, сделав буквы невероятно красивыми — у одного появились крылышки, у другого колеса как у велосипеда.

Потом протянула мне список финских слов. И еще, несколько немецких автостопных слов, на тот случай, если я соберусь мотануть туда, где электрички разбиваются о готический Кельнский собор на Домклостер, 4. И я обещаю ей, что когда-нибудь так и сделаю.

— Alepa, — загадочно говорит она, закрывая дверь перед самым моим носом.

Мне нужно уехать до того, как появится машина моего отца. Я помню ее очень хорошо и узнаю из сотни других, проносящихся мимо по трассе. Она черная и лакированная, как галоша.

Мимо проносятся все кому не лень. На меня никто не обращает внимание.

Десять утра на часах. Понимаю, что время вышло.

Понимаю, что Ботинок подъезжает к моему окну и вглядывается в комнату, где я только что погасил свет. Потом заворачивает к Кудряшке.

Но вместо Кудряшки ему открывает другая.

У меня еще есть минут пять. Может быть, меньше. А если не успею, он окликнет меня из окна. Придется идти назад. Уж слишком хорошо меня видно.

Вдруг странная машина останавливается вдалеке. Красная с оранжевыми всполохами в черном ободке — как реклама крыльев из «Бургер Кинга». Открывается дверь. Зудит сигнал. Я не верю такому счастью.

Знакомое какое-то лицо на переднем сиденье. И я, кажется, этому лицу тоже знаком — улыбается, руками машет…

Вглядевшись, я вспомнил. Видел его в супермаркете несколько раз. Это Росмолайнен, у которого пропала собака. А может, и нет… Какой маленький город. Даже если соединить все эти Кархумяки и Тууликаллио в одно — всего-то немного получится…

А за рулем моя любимая кассирша, которая вспыхивает от радости, как спичка, — гордится тем, что узнала меня, и приглашает сесть. Я отмахиваюсь, мол, мне далеко, в Хельсинки. «Нам и нужно в Хельсинки, — говорит Росмолайнен, и вдруг я понимаю его. — Залезай-ка, саксофонист, залезай…»

Хельсинки похож на любой другой город, с добавлением кучи чаек. Фокус в том, что если добавил туда чаек, то все. Уже ни на какой другой город не будет похоже.

Я здесь два дня. Чаек все больше и больше.

Поздняя ночь и раннее утро как два разноцветных фломастера. Острова здесь как материк, а материк, напротив, отрезан от острова ножницами. Я успел подружиться с портовым псом и рассориться с ворующими еду чайками. От некипяченой воды болит живот, но симптомы проходят, как только закусываешь свежим озерным воздухом.

Снега в Финляндии уже практически нет. А льда тем более.

Ночь я провел в парке. Никто меня не тревожил. Я выспался как медведь.

Ну а сегодня наступило время социализироваться.

Я уверенно вытаскиваю из урны окурок и знаком прошу прикурить первого попавшегося финского гражданина. Он солидно одет. Я кивком благодарю.

В окне социального центра человек в синей форме. Приоткрывает двумя пальцами жалюзи и наблюдает за тем, как я раскладываю бивак.

Я вынимаю саксофон. Прилаживаю эску. На ней скопилась зеленая накипь — нехорошо. Я нашариваю в кармане Ботинкову карточку. Накипь легко снимается, и карточка падает в забрало канализации. Больше она не нужна.

Кто-то из татуированных гномов в черных капюшонах заинтересованно останавливается, но я машу рукой — не готов еще, мол, — и тот проходит дальше.

Интересно, почему я еще не готов? Все, вроде, на месте.

Издаю звук и чувствую, что получается именно так, как хотел. Точнее, так, как хотел Белк. Раздается кривой и мощный звук альт-саксофона. Оглядываются даже чайки. А прохожие смотрят удивленно, как будто я несогнутыми пальцами на рояле сыграл. И я готов продолжать. Играть до тех пор, пока не пробьет раунд миднайт.

Момент первого удивления прошел. Никто не обращает на меня внимания. Даже чайки. Я остался совсем один.

Впрочем, почему же совсем? Есть здесь кто-то еще. Чувствую, как этот кто-то доедает за мной майонез из пластмассовой миски.

Это портовый, затерянный пес. Его забыли покормить, как и меня… Что поделаешь…

Я достаю из рюкзака все для морошкового кофе — батон-чиабатту, зеленую мексиканскую пасту с надисью «Текс-мекс»… Крошу все это в стакан, поливаю водой из бутылки. Как будто у меня здесь детская игра в куличики. Интересно, зачем я делаю это? Собака ведь взрослая и побитая жизнью. Несмотря на дружелюбие, у нее скептический взгляд.

Она не будет со мной в морошковый кофе играть.

Но собака тщательно обнюхивает морошковый кофе и ест его, пока не наедается. Потом вылизывает стаканчик и просит еще.

— Телониус Дог, — осеняет вдруг меня. — Ты ведь Телониус Дог, верно? Тело не ус?

Собака сурово гавкает и поднимает обе лапы, словно старается напугать. Потом садится рядом со мной и не отходит уже никогда.

Эпилог

Я сижу в кресле с метрономом в руке. Не спится.

Ломаю негнущиеся пальцы, потом собираю их вновь.

«Расскажи кому-нибудь, — сказала Яннике мне сегодня утром. — Про собаку свою. Или кто там у тебя был до нее, я всегда забываю. Будет легче, если кому-нибудь рассказать, что с тобой было».

Она действительно забывает все. Может через пять минут забыть то, о чем мы с ней разговаривали. Чтобы читать книги, она пользуется диктофоном. Представьте, берет диктофон и говорит: «Только что я попросила рассказать про собаку». Такое вот сумасшедшее свойство Янниковой памяти.

Почему бы и нет? Разве жалко? Я взял и рассказал. Только не Яннике. И не в тот раз.

Я бы не прочь рассказать ей об этом, но она все равно ничего не запомнит.

Вначале я пожаловался маленькому дубовому ангелу. Правда, он и так наполовину все знал. А потом пересказал сове, которую носил за спиной после того, как ангел из Тууликаллио уехал по черной, багажной ленте вместе с чемоданом грязного белья по маршруту Тампере — Барселона.

Февраль–май 2018
Сентябрь–ноябрь 2025